



*Насли Френкелъ*

# Смерть отца

{Саул и Иоанна}

# Наоми Френкель

## Смерть отца

### Серия «Саул и Иоанна», книга 2

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664475](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664475)

Наоми Френкель. *Смерть отца: КНИГА-СЭФЕР*; Тель-Авив – Москва;  
2011

ISBN 978-965-7288-49-8

Оригинал: Naomi Frankel, *“The father’s death Saul and Yohana”*

Перевод:

Эфраим Баух

### Аннотация

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.

Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.

Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма. Даже любовные переживания героев описаны сдержанно и уравновешенно, с тонким чувством меры. Последовательно и

глубоко исследуется медленное втягивание немецкого народа в плен сатанинского очарования Гитлера и нацизма.

# Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	56
Глава третья	87
Глава четвертая	122
Глава пятая	153
Конец ознакомительного фрагмента.	180

**Наоми Френкель**  
**Смерть отца**  
*второй роман трилогии*  
**Саул и Иоанна**  
*перевод с иврита*  
**Эфраима Бауха**

*Посвящаю трилогию «Саул и Иоанна» вознесшейся в небо  
душе Израиля Розенцвайга, благословенной памяти, чистей-  
шей душе в моей жизни, любовь моя к которой вечна*

# Глава первая

Весна как весна. С гомоном и воркотней ворвался март в застывший от морозной стужи мегаполис. Берлин еще лежал оголенной пустыней, замерев под тяжелой пятой зимы, под снежным саваном, словно бы не в силах подняться из-под суровой рыцарской длани. Только на берегах Шпрее слышался треск начинающегося ледохода под ножевыми днищами речных кораблей. И сильный ветер бурно налетал на здания, сметая снежную пыль с деревьев и крыш, сплетая черное покрывало тяжелых туч над городом.

Снег таял. Пешеходы и машины месили коричневую грязь вдоль улиц, которые наполнились разноголосицей от края до края. Воды Шпрее бурно вздымались волнами, раскачивая лодки. Берлин наполнился движением вод, лязгом трамваев, скрежетом автомобильных тормозов, плеском луж и шумом дождя. Весна есть весна. И в веяниях ветра и треске льда Берлин вздохнул всей широкой грудью и задышал долгим и спокойным дыханием.

В середине марта дни внезапно как бы вырвались из мглы, наполнились светом, небо стало высоким, и солнце вошло в светлые пространства небес. Деревья на дремлющей площади протянули к солнцу свои голые и влажные ветви. Вокруг их корней истрепанная снегом и морозами, вновь почернела земля, впитывая талые воды, и в коричневом ковре грязи

наметились новые русла. И было утро. Утро дня, разлившееся сиянием с момента своего пробуждения. Воскресенье.

Площадь погружена в сон. В доме Леви раздается стук открывающейся двери. Садовник идет к черным железным воротам – взять корзинку со свежими булочками, которые привозит посыльный из пекарни каждое утро и оставляет у входа. Идет садовник вдоль аллеи каштанов, не торопясь, выпуская клубы дыма из курительной трубки. Дойдя до ворот, бормочет про себя:

– Все уничтожила эта жестокая зима. Надо смазать оси ворот.

Перед ним раскинувшаяся в покое площадь. Медленно колышут на ветру ветвями плакучие ивы, и в этом же ритме движутся волны озера. Как огромная колыбель, озеро качается на ветвях этих ив, словно негромко напевающих, скорее навевающих колыбельную песенку мягкими порывами ветра. Только дома закрытыми окнами, словно наблюдатели, прикрывшие веки, выражают неприязнь ко всему этому покою.

– Пришла весна, – шепчет садовник, словно пытается разбудить наглухо замкнутые дома. – Пришла весна. Весна 1932 года.

Нет отклика. Никакое эхо не будит площадь и спящие дома. Берет садовник корзину с булочками и возвращается в дом хозяев – раздуть огонь в котельной в подвале.

Площадь все еще пуста и сонлива. Только в доме «воро-

ншей принцессы» открывается окно. Выглядывает голова – никого нет! Окно захлопывается движением, полным отчаяния. Голова эта – служанки Урсулы. Старуха «принцесса» больна. В эти дни сияющего прихода весны она свалилась в постель, чтобы больше с нее не встать. Все зимние дни она проделывала каждое утро путь от дома к озеру – кормить своих чернокрылых любимцев. Но когда пришла весна и вороны стали кружиться над площадью, слегла их покровительница. Бледная и обессиленная, лежала она в своей огромной роскошной постели. Подушка в сверкающе белой наглухо застегнутой наволочке – в изголовье. Кружевной белый чепчик на ее волосах, тоже белых, ночная сорочка в кружевах на ее длинном и костлявом теле. Все – белое, и на лице ее ничего не осталось, кроме длинного носа и глаз, уставившихся в пространство взглядом не от мира сего. Смертные тени поселились по краям носа, протянувшись на впалые щеки, к сжатым бледным губам.

Сквозь разбитые жалюзи просвечивает раннее весеннее солнце. Последний отпрыск некогда мощного дома принцев уходит из жизни. С ней исчезнет род ее предков. Глаза служанки Урсулы, низенькой, с покатыми плечами, следят за полосками света, прокрадывающимися через разбитые жалюзи в сумрак комнаты солнечной пылью.

«Иисус милосердный, что теперь делать?»

Одинока она с агонизирующей хозяйкой в стенах этого старого, огромного дома. В отчаянии она скрещивает руки в

молитве. Ночью доктор покинул дом. Роль его, как он сказал, завершилась. Настало время останкам плоти выщезивать из себя остаток жизни. Так и сказал: «останки плоти». И что она, служанка, сделает с этими останками хозяйки? Как животное в норе своей, помрет она в этой роскошной постели. Может, вызвать священника? Иисус милосердный! Самым строгим образом запретила ей госпожа приводить священника в ее последний час. Лютой ненавистью ненавидела она Бога и дьявола в одинаковой степени. Grimаса злости искажает лицо служанки. Сегодня она приведет сюда молодого Оттокара. Она уже пыталась приподнять иссохшее тело госпожи, но тут же плечи служанки затряслись от страха.

«Иисус, что может случиться, если она приведет сюда Оттокара. Скрестятся прозрачные и увядшие руки госпожи на подсвечнике, а потом лягут на голову Оттокара. Так она вела себя в своих фантазиях. С каждым звонком в дверь она возникала на пороге, и глаза ее светились ожиданием и неприязнью. Всю жизнь она боялась, что Оттокар появится в доме. Но сейчас? Ха-а». Губы старой служанки сжимаются презрением. «Этот сжатый бледный рот, там, на белой подушке, уже никогда не откроется, чтобы осыпать ее, служанку, проклятиями! И не в силах она ни запрещать, ни разрешать».

Внезапно Урсула бежит к окну, и в гнев распахивает жалюзи. Госпожа ненавидела свет. Жалюзи всегда были опущены. А теперь да будет свет! Для нее и для души ее! Жалюзи натужно скрипят. Неожиданным потоком врывается свет

в комнату и приносит с собой шорох ветра в верхушках деревьев и болтовню воробьев на ветках. Ошеломленная светом и шорохами жизни в саду, стоит старая Урсула и смотрит испуганными глазами на госпожу. Постель, этот смертный одр, погружена в солнечный свет, во много раз усиливая бледность лица больной и мерцая последними искрами жизни в ее зрачках.

Урсула плачет, не по госпоже, по себе самой, по голове своей, полной всякие злых замыслов, по сердцу своему, полному враждебности. «Иисус, – пытается она вызвать жалость в недобром своем сердце, – врач сказал, что мозг ее наполняется известью. Да что знает врач? Не известь, а скорбь и горе уничтожили ее жизнь. Душа, будь она даже лошадиной, не выдержит такого одиночества и пустоты. Всех близких и друзей изгнала она с глаз долой своими безумствами, теперь вот, лежит, сморщенная, как исхудалая полудохлая курица».

Урсула словно бы лелеет и растит в душе недобрые мысли в последние часы жизни госпожи, и неожиданно убегает из комнаты, несется по дому. Подобно потерянной птице, ищущей саму себя, стучит ногами, спускаясь по ступенькам, сейчас она поедет и позовет Оттокара. Немедленно! В смятении она напяливает на себя черное пальто, а на седые волосы – некое подобие черной ермолки, и вот она уже у входной двери. Внезапно замирает. Деревянные стены салона скрипят. Все пространство старого дома полно слабыми звуками и скрипами. Давний его застой словно бы размораживается,

освобождая все эти омертвевшие во времени звуки. И кучей Урсуле чудится, что множество голосов взывают к ней из всех углов дома: «Куда, Урсула? Куда? Не к Оттокару ты бежишь, а спасаешь душу свою от вставшей рядом смерти. Дух дьявола вошел в тебя. Ты что же, оставишь госпожу одну в эти часы? Оттокар живет далеко отсюда, в старой части Берлина, около реки Шпрее, и кто его позовет? Упаси Бог, уехать туда и бросить дом! Надо кого-то позвать на помощь. Но кого?» – пытается Урсула свою душу невыносимой пыткой.

Из старых слуг, ей знакомых, остались лишь двое в доме евреев – садовник и Фрида. Нога Урсулы никогда не переступала порог еврейского дома, но садовника она хорошо знала. Легкий румянец проступает на ее щеках. Неверующим был садовник, пошел за ней в этот большой город. А была она тогда пряма спиной и плечами, служила в доме принцев. Он же служил в еврейском доме, и молодая голова его была полна мятежных мыслей. Дела их завершились ничем. Теперь оба они состарились. Так что? Сейчас все изменилось, и она откроет ему ворота?

Урсула открывает входные двери, на которой вырезан герб принцев Бранденбургских. Тропинки в саду еще влажны, с деревьев падают тяжелые капли. Урсула закрывает глаза, ослепленная силой солнечного света, осторожно обходит лужи, добирается до ворот. На площади ни одной живой души. Над деревьями видна красная черепичная крыша еврейского дома, единственного на площади, из трубы которого

вырываются черные клубы дыма в утреннее небо. Урсула даже не смеет подумать о том, чтобы туда пойти. Как она предстанет пред ним, этим неверующим, после стольких лет вражды и обид?

Улица, ведущая на площадь, полна движения. Как тонущая между волнами, Урсула простирает руки о помощи, но никто не обращает на нее внимания. Все души околдовала весна, за исключением ее души. Она втягивает голову в плечи и наблюдает за еврейским домом. Может, все же оттуда придет спасение?

\* \* \*

Сегодня в доме Леви праздник. Бумбе исполнилось одиннадцать лет. У его постели Фрида поставила большой букет алых восковых роз, и рядом – записку, написанную цветными буквами:

«С исполнением тебе одиннадцати, как роза, – расти и цвети».

Эту фразу зарифмовала Фрида, а дед написал красивыми буквами на бумаге и добавил рисунок солдата с румяными щеками, бьющего в барабан. Бумба все еще дремлет. Около его постели дремлет пес Эсперанто, положив голову на лапы. Портьеры опущены, и в комнате стоит утренний сумрак.

Все обитатели дома еще спят. Только в комнате Иоанны заметны признаки жизни. Осторожно чуть-чуть раскрыва-

ются двери в комнату Бумбы. Иоанна заглядывает внутрь, черные ее косички небрежно заплетены. Они болтаются поверх легкой блузки, застегнутой и подпоясанной широким поясом с блестящей пряжкой. Сумка висит у нее на плече, она ступает в носках, держа в руках свои подбитые гвоздями ботинки. Эсперанто поднимает голову, приветствуя ее слабым полусонным тьякнъем, встает с ковра, идет к ней, радостно помахивая хвостиком.

– Ш-ш-ш, – дает ему знак Иоанна, – ш-ш-ш! – и поглаживает его шкуру. Она стремительно входит в комнату и кладет небольшую записку рядом с розами, бросает угрюмый взгляд на спящего брата и быстро ретируется из комнаты, за ней и Эсперанто, трущийся шкурой об ее синюю юбку.

– Отцепись, Эсперанто, – с грустью обращается к нему Иоанна, – я ухожу, я покидаю наш дом, – стоит она беспомощно, на тихом этаже, у дверей комнаты Бумбы, и не решается сдвинуться с места и продолжить путь, несмотря на то, что написала в записке энергичным почерком:

«Бумба, нет у меня возможности участвовать в празднестве твоего дня рождения.

Мое отношение к семье решительно изменилось. Отказываюсь от всех этих буржуазных традиций праздновать дни рождения.

Я не могу нарушить дисциплину моего Движения и не пойти в поход.

Вопреки всему этому, я поздравляю тебя с днем рождения. Мой подарок ты найдешь среди всех

подарков на столе в столовой. Это все. Я подписываю это поздравлением и благословением от имени моего Движения.

Будь сильным и мужественным!

Твоя сестра Хана».

Теперь надо незаметно выйти. Вчера отец запретил ей участвовать в походе Движения. На празднование дня рождения Бумбы приглашено множество гостей. Дед заказал также фотографа. Не было еще такого случая в истории семьи, чтобы кто-то из ее членов не участвовал в таком празднестве. Отец ничего не понимает в делах Движения и сосредоточился лишь на ее внешнем виде, дикой походке, небрежной одежде, на ее громкой патетической речи. «Все это, – говорит отец в своей обвинительной речи, – пришло к ней из Движения». Споры с ним были бурными, но теперь не стоит его огорчать. Отец очень болен. Дед взял в свои руки все дела с детьми и со всей серьезностью приказал, чтобы они отца только радовали, ибо доброе настроение и покой могут его вылечить. И все неукоснительно подчиняются указаниям деда. Но Иоанне нечем радовать отца, и она чувствует иногда на себе печальный взгляд его серых глаз. Только на нее он смотрит с такой печалью, и взгляды эти преследуют ее. Сегодня, когда она вернется из похода, отец будет смотреть на нее тем же печальным взглядом и не скажет ни слова.

– Но я обязана пойти, – шепчет Иоанна на ушко Эсперанто, – я не могу нарушить дисциплину. Движение превыше

всего! – голос ее прерывается, и нет у нее сил сдвинуться с места. Она гладит его шкуру, прижимает к блузке и как бы оправдывается, – я обязана, слышишь меня?

\* \* \*

Резким движением она открывает дверь в комнату Бумбы и вталкивает туда пса. По мягкому ковру, скрадывающему шаги, она доходит до ступенек. На этаже отца абсолютная тишина, но на самом нижнем этаже уже слышен голос Фриды. Если та ее поймает, поднимется большой шум. У Иоанны защемило сердце. Надо проскочить. Скорей! Скорей!

Из кухни выходят сестры Румпель, две белобрысые молодые женщины с белыми бровями и красными веками, и в их руках по пирогу. Перед каждым праздником приходят эти две альбиноски в дом Леви с двумя огромными полотняными сумками, на которых вышито «Приходите с миром и ступайте с миром». Тотчас же, с приходом, надевают они широкие белые фартуки, повязывают белые свои волосы платками тоже белого цвета. Они белые и дела их белы. В комнате рядом с кухней замешивают они из муки тесто, раскатывают, взбивают, месят, вкладывают в формы, и чудо из чудес выходит из-под их рук, вернее, из печи – румяные куклы и петушки, с изюминками вместо глаз, которые очень нравятся Бумбе и Иоанне. И чем больше руки их наполняют лакомствами пространство дома, тем больше уста их наполняют

дом болтовней, и все обитатели дома кружатся вокруг них – полакомиться и послушать.

И вот, снова праздник, и снова они здесь со всем своим мастерством.

Иоанна прижимается к стене, как будто так можно спрятаться от вездесущих глаз этих сестер.

– Доброе утро, детка, – чирикают обе, уже посвященные в дело ее похода и дискуссий, которые разразились по этому поводу вчера, – куда путь держишь? – голоса их сладостны, а глаза уперты в ботинки, которые Иоанна сжимает в руках.

– Да, ничего, – мямлит Иоанна, – нет никакого пути.

Она уже у входной двери, и вот уже в саду, и чулки ее намокли от утренней росы.

Ботинки она обувает на каштановой аллее и облегченно вздыхает. Никто за ней не бежит, только ворота скрипят. День-то сегодня – весенний. Свет всеохватен и ощутим на ощупь. Иоанна всовывает руки глубоко в карманы кофты, голова ее опущена, и рот весело насвистывает.

– Девочка, – кто-то сзади окликает ее.

Но она не поворачивает голову. Голос-то она услышала, но так как не принято окликать словом «девочка» ее, двенадцатилетнюю, она решает в душе, что оклик относится не к ней.

– Девочка, – повышает голос Урсула из-за забора, – девочка.

Иоанна все же останавливается. Господи! За оградой сто-

ит служанка «вороньей принцессы» Урсула, беспомощно размахивая руками.

– Это вы меня зовете? – уважительно спрашивает Иоанна.

– Ты оттуда? – указывает старуха рукой на еврейский дом.

– Конечно же, оттуда.

Как будто есть на площади другое место, откуда она может прийти.

– Садовник там?

– Да, зажигает огонь в котельной.

– Он, верно, закончил эту работу. Можешь ли ты вернуть-ся туда?

– Я? Вернуться? – вскрикивает Иоанна.

– Да, – настаивает старуха, – вернись и попроси его от имени Урсулы из дома принцессы, чтобы немедленно пришел. Иди, девочка.

Иоанна опускает голову. Она не может вернуться. Ни за что! Но как это объяснить старухе?

Старуха видит сомнение на лице девочки, и лицо ее искажается гневом. «Иисус! Эта еврейская девочка. Никакого уважения, никакого воспитания. Так не уважать старую женщину».

– Сейчас же, – повышает старуха голос, – сейчас же иди туда и позови садовника! Уважаемая госпожа, принцесса, на смертном одре, и я одна с ней. Сейчас же!

Ее «воронья принцесса» при смерти! Сердце Иоанны бешено колотится. С тех пор, как она пошла в Движение, она

забыла принцессу и ее ворон. Но известие о ее смерти всколыхнуло воспоминания и всяческие были, которые Иоанна плела вокруг черной принцессы, и сейчас все они слились в одну тревогу: как прокрасться в дом, а затем сбежать оттуда? Если ей повезет, она найдет садовника в подвале. Стоит Иоанна на каштановой аллее и смущенно глядит на окна комнаты отца. Жалюзи все еще опущены. Окна подвала окружены лужами. Иоанна ступает по ним к окну подвала. Она стучит в стекло. За мутным забрызганным стеклом возникает силуэт садовника.

– Кто там?

– Это я, Иоанна. Выходи быстрее сюда, но не говори в доме, что это я тебя вызвала.

– Гром и молния! – садовник распахивает окно. – Почему ты неходишь в дом?

– Ш-ш-ш. Не задавай вопросов. Быстро выходи. У меня сообщение к тебе от служанки принцессы.

– Бегу.

– Воронья принцесса при смерти, – бежит ему навстречу Иоанна. – Воронья принцесса! Урсула, эта, кривая, стоит у ограды и ждет.

Урсула все еще стоит за оградой, и взгляд ее устремлен на еврейский дом. Увидев спешащего к ней садовника и девочку, опускает голову, расстегивает верхнюю пуговицу пальто и снова застегивает.

– Доброе утро! – говорит старик с явным удовольствием,

как будто каждый день ему выпадает встречаться с Урсулой возле ограды.

– Доброе утро, – облегченно вздыхает Урсула и открывает калитку, которая остается криво висеть на оси за спиной старухи. Как темная пещера, мерцающая, уперся вход в дом принцессы в лицо седого садовника. Иоанна собирается продолжить свой путь, но любопытство ее усиливается. Темнота входа притягивает ее, и ничего не случится, если она немного опоздает на встречу у вокзала, поедет за ними и встретится уже в лесу. И вместе с Урсулой и садовником, без приглашения, переступает порог дома. Она сжимает свой рюкзак, как будто ищет в нем опору. Садовник гасит трубку. Шуршат стены, и скрипит пол в передней, отсчитывая каждый шаг. Садовник устремляет взгляд на ступени, Урсула следит за его взглядом.

– Там, – повисает в воздухе костлявый палец служанки, – там, наверху, она лежит в постели.

Глаза садовника и Иоанны движутся за пальцем Урсулы вверх, по винтовой лестнице. Смертные тени спускаются навстречу им и по пути оставляют невидимые следы тяжелой пылью, впитавшейся в ковер, но сердитый голос Урсулы гонит эти тени.

– Надо привезти сюда Оттокара, – обращается она требовательно к садовнику.

– Оттокара?

– Ты что, не помнишь Оттокара? – впадает в гнев старуха.

– Сына ее умершей сестры, графини из Померании. Это же юноша, который воспитывался здесь вместе с нашим Детлефом?

– Помню, помню. Конечно же, помню. Ты имеешь в виду этого светловолосого юношу? Детлеф и Оттокар были похожи друг на друга, как братья.

– Похожи? – еще сильнее гневается Урсула. – У нашего Детлефа были серые красивые глаза. А у Оттокара – голубые. Ну, немного они были похожи друг на друга. Ведь их матери были близнецами.

– Много лет я не видел его. Воспитанник упорхнул из семейного гнезда, – вздыхает садовник.

– Упорхнул? – вскидывается старуха. – Да принцесса выгнала его с глаз долой. Большие беды он ей принес. Иисус! Страшные беды! Детлефа нашего уговорил пойти добровольцем на войну. Детлеф пал в бою, а он остался в живых. И в ту ночь, когда графиня из Померании получила весть о гибели ее сына Детлефа, она выехала в своей карете к принцессе, в Берлин. Была темная ночь, хоть глаза выколи, и лес был во мраке, и олень бежал навстречу черной карете. И черная весть сбила с толку кучера, и кони сбились с пути, карета опрокинулась, и графиня погибла.

– Где же он, этот юноша, сейчас?

– Где он? Живет в старой части Берлина, – выпрямляет Урсула свое куцее тело, и голос ее усиливается, – отец его, граф из Померании, изгнал его из усадьбы, такой вот он, этот

тип, но у госпожи это единственный родственник, и его надо привести немедленно.

– Гм-м, – раздумывает садовник, – ты, Урсула, будешь у постели больной, а я поеду привезу его.

Тяжкий, глубокий и резкий вздох отвечает садовнику, отлетая от стен передней в сторону троицы, и все испуганно вздрагивают. Глаза обоих устремлены на Иоанну в немой просьбе. А у нее ком застревает в горле, как это бывает с лекарством, которым ее потчует Фрида: уехать все же в поход по приказу инструкторов Движения или быть «помощницей, на которую можно положиться», согласно одной из десяти заповедей Движения. Неожиданно ком в горле проходит:

– Я могу поехать туда. Я хорошо знакома со старой частью Берлина.

– Ты совершишь святое дело, – садовник гладит щеку девочки. – Дай ей записку к Оттокару. На девочку можно положиться.

Все трое поднимаются по ступенькам. На первом этаже воздух сперт еще сильнее. Они входят в огромный зал, и шпалеры на стенах пунцовеют огромными полинявшими от времени розами. Иоанне кажется, что комната насыщена запахом увядших роз. Огромная картина маслом украшает одну из стен. На ней изображен подросток с длинными светлыми кудрями, серыми мечтательными глазами и тонкими девичьими чертами. Облачен подросток в бархатный темный костюм с белым кружевным воротником. На бедре у него

небольшой меч, у ног – белый песик. Чучело этого же песика стоит на столе под картиной, и стеклянные его глаза мерцают. Рядом с чучелом – скрипка и большая толстостенная фарфоровая чаша, на которой – надпись: «Бог накажет Англию!». И еще на столе – серебряный поднос, на котором – пачка писем, перевязанных черной лентой. Около картины стоит письменный стол, а на нем лежит дневник.

Угол смертного одра виден через полуоткрытую дверь. Иоанна не осмеливается взглянуть туда и стоит спиной к этой двери. Перед ней стол, на котором стоит кастрюля, посуда с остатками пищи разбросана по столу, большой серебряный нож покрыт зелеными пятнами. Грязь на столе и полная заброшенность комнаты бросаются в глаза.

– Отправляйся в дорогу как можно скорее, – говорит Урсула и дает ей письмецо, которое писала вместе с садовником.

– «Графу Оттокару фон Ойленбергу. Здесь. Улица Рыбаков. Странноприимный дом “С надеждой на лучшее”», – читает Иоанна адрес на конверте, и взгляд ее удивленно возвращается к картине на стене: какая связь между этим кудрявым подростком, изображенным на полотне, и графом в общезнании странников. В это время Урсула входит в смежную спальню – справиться о состоянии госпожи. Иоанна и старый садовник остаются в зале.

– Она еще жива, – сухо сообщает Урсула, вернувшись из спальни с маленьким зеркалом в руках, которую она прило-

жила к устам умирающей, увидеть, покрывается ли зеркало паром ее дыхания.

– Ш-ш-ш, Урсула! – прикладывает палец у губам садовник.

– А-а, – отмахивается старуха, – мертвой плоти скальпель боли не принесет, – и тут же с укором обращается к Иоанне. – Ты еще здесь? Торопись!

Иоанна пересекает комнату. Бросив любопытный взгляд в спальню, видит роскошную постель, и около двери обращается к садовнику.

– Может, проводишь меня до выхода? – она боится одна пересечь длинный коридор и темную прихожую. Садовник берет ее за руку, и когда они уже в прихожей, он указывает на большой гобелен.

– Ты знаешь, кто это, Иоанна?

– А-а, просто какой-то идол.

– Так, – улыбается грустно садовник, слыша некую насмешку в тоне Иоанны. Он и Урсула – потомки племени вендов. Пришли они из села у подножья горы, на которой стоит старый крепостной замок. Предки их были крестьянами из племени вендов, и по сей день в их языке встречаются выражения – остатки языка древних славян.

– Говоришь, просто какой-то идол? Нет, детка, не просто какой-то идол. Это древний бог Триглав, властвующий над временами года, над небом, землей и преисподней, и, сверх этого, над севом и цветением. А из-за грехов наших превра-

тился он в бога гнева и мщения. Отец рассказывал мне...

– Ах, – прерывает его Иоанна, – не верю я ни в какого бога.

– Ты в порядке, – улыбается старый осколок племени вендов и, открыв арочную дверь из темного пасмурного дома, выпускает Иоанну в день, полный света.

Улица Рыбаков начинается со стоянки лодок станции «Водная плотина», и тянется вдоль реки Шпрее, на которой и расположен странноприимный дом «С надеждой на лучшее». Давно исчезли и станция, и плотина, но название осталось. Столетие прошло с тех дней, как воды Шпрее мощным потоком с громами и молниями расшатывали волнами причал станции. Здесь были врата в имперский город, у которых царские солдаты взимали пошлину с каждого, желающего войти в город. А очередь была велика. Волны пригоняли сюда корабли из всех областей, примыкающих к Шпрее, а проселочные дороги приводили сюда крестьян области Бранденбург. И все направлялись к мельнице, везя зерно на помол.

Но дни эти прошли, плотина высохла, мельница разрушилась, ворота с солдатами исчезли. Пустыня и безмолвие наследовали это место. С ленцой катит река свои воды. И сейчас плывут лодки и корабли по Шпрее, медленно направляемые рулевыми с помощью длинных шестов. В базарные дни крестьяне из близлежащих сел тянутся вдоль Шпрее на своих тяжелых гремящих телегах под ржание лошадей. В этот весенний день все пространство вдоль реки и на самой поверхности воды занято множеством лиц, а улица Рыбаков за-

бита народом. Люди особой внешности живут на этой улице – ремесленники со своими старыми небольшими мастерскими. По сей день тускло поблескивают на воротах их домов вывески различных ремесленных гильдий, и на улице слышны голоса мастеров, дающих указания подмастерьям.

Когда Иоанна сошла с трамвая, мастера уже возвращались из церкви, прогуливаясь вдоль причалов. Молитвенники в черных переплетах были у каждого в руке, и прогулочные трости в унисон постукивали по причалу. Достаточно долго искала Иоанна общежитие, пока не обнаружила небольшой трехэтажный дом. Крыша его недавно была обновлена, и черепица похожа на рыбу чешую. Узкие и маленькие окна посверкивали под солнцем на всех трех этажах. Резные украшения на стенах облупились вместе со старой штукатуркой. Над крышей вздымается труба, сложенная из красных задымленных кирпичей, и две водосточные трубы, из которых все время каплет вода, выступают вдоль стен. Изношенность и множество латок повсюду, только первый этаж хозяин общежития выкрасил слепящей глаза зеленой краской. Над входной дверью газовый фонарь, украшенный железными завитушками в форме улиток. А под ним – надпись черным – возвещает:

Добро пожаловать, странник с дальних дорог,  
Будь нашим гостем, ты нам дорог.

Вход украшен арочной нишей, над которой – каменная мемориальная доска с надписью:

Этот дом является собственностью  
Гражданина города Берлина  
Бартоломеуса Кнастера  
И жены его, освященной браком, Магдалены.  
Строительство завершено в 1600 году.

Вход закрыт, но дверь, ведущая в ресторан, открывается, и изнутри доносятся первые звуки песни: «О, Сюзанна, прекрасна наша жизнь!» – зал полон мужчин, частью сидящих вокруг больших по-крестьянски грубых столов, частью стоящих у стойки и погруженных в громкий разговор. Строфы песен начертаны на стенах витиеватым почерком:

Вгонит он в беду и в голь,  
Царь всевластный – Алкоголь.  
Но в книгах священных, кроме всего,  
Говорится: люби врага своего...

За стойкой – высокий, худой мужчина, кости у которого выпирают, как у огромной неуклюжей рыбы. Над небольшими светлыми усиками и между двумя колючими глазками торчит длинный и тонкий нос. Это Нанте Дудль – хозяин странноприимного дома «С надеждой к лучшему». На самом деле имя его не Нанте Дудль, а Бартоломеус Нанте. И почему же? По праву, начертанному на мемориальной доске, в нише, над входом в дом, с именем его владельца Бартоломеуса Кнастера, который ушел в мир иной в начале 17-го столетия, содержится это родовое гнездо семейством Нанте по сей день. И каждого первенца в роду называли этим

длинным и красивым именем вот уже четыре столетия. Хотя каждый, знающий родословную, мог доказать, что между семьей Нанте и Бартоломеусом Кнастером и его женой Магдаленой нет никакой связи. Но никто не рискует выразить это вслух, чтобы не вызвать гнев Бартоломеуса, гордящегося своим происхождением, несмотря на то, что наследственное имя – Бартоломеус – не было дано ему официально. Этим именем звала его мать, пребывающая ныне в райских кущах. Она с младенчества называла его Нанте Дудль за его невероятную любовь к музыке. «Святая Мария, – говорила старуха, благословляя Нанте перед гостями, приходящими в их дом, – Иисус милосердный, у этого мальчика ничего нет в голове, кроме его «дудлей». Из любого попадающегося ему под руку самого необычного инструмента Нанте Дудль умел извлекать мелодию. Но главным инструментом была губная гармоника, хотя талант его еще проявлялся в рифмовке, не говоря уже об искусстве разгадывания кроссвордов, принесшем ему несколько призов. Короче: необыкновенно талантлив во многих областях этот Нанте Дудль, и, несмотря на колючий взгляд, у него доброе сердце, он весел и приятен окружению.

– Поглядите-ка, братья, кто удостоил нас своим присутствием! – склоняет голову над стойкой Нанте, приветствуя уважительным взглядом, стоящую перед ним явно потерянную малышку.

Слишком много звуковых и зрительных впечатлений для

одного утра обрушилось на нее – обрывки разговоров, странные имена, стихи на стенах, вертящиеся двери и бесконечно звучащая песенка: «О, Сюзанна, прекрасна наша жизнь!», мужчины, уходящие и входящие, которых Нанте Дудль встречает и провожает, как братьев и соплеменников.

Иоанна чувствует себя очутившейся в стране с чудесными людьми, отличающимися от всех смертных существ, которых она встречала до сих пор.

«О, Сюзанна, прекрасна наша жизнь!» – наигрывают в очередной раз вертящиеся двери, и одиннадцать парней высокого роста и мужественного вида, во главе которых коротышка, вваливаются в помещение.

– Доброе утро, граф Кокс, – приветствует вошедшего предводителя Нанте Дудль.

– Урия, немедленно – за фортепьяно! – командует граф Кокс, и тут же от компании вошедших парней отделяется один и направляется к инструменту, стоящему в углу зала, над которым тоже – рифмованные строчки на стене:

В рожденья день, набравшись новых сил,  
Неверующий мастер Бога обновил!

И поток фортепьянных звуков словно бы промывает весь зал.

Могут ли услышать голос малышки в этом бедламе? Но хозяин странноприимного дома приходит ей на помощь:

– Может быть, желает душа маленькой госпожи жвачку?

– Нет! – громко отвечает Иоанна, собрав все силы своей

души, к которой воззвал хозяин такого ошеломляющего места. – Живет ли в вашем доме господин граф?

– Кто?

– Господин граф. Могу ли я с ним поговорить?

В зале воцаряется тишина. Глаза всех устремлены на девочку, у которой дело к графу.

– Урия! – обращается коротышка к музыканту, и фортепьяно замолкает.

– Ты, – обращает Нанте Дудль свой длинный палец в сторону девочки, – ты желаешь поговорить с господином графом в такой ранний час? Зачем?

– Дело срочное, – решительно говорит Иоанна, – пожалуйста, господин, передайте господину графу эту записку. Я подожду. Я должна получить от него ответ.

– Линхен! – гремит голос Нанте Дудля, его тонкие ноги проходят через зал к раздаточному окошку, в руке высоко он держит письмо, принесенное девочкой. В проеме двери, рядом с окошком, возникает Каролина Нанте, жена Нанте Дудля. Маленькая, круглая, румяная, с приветливым взглядом. Видно, что всей своей внешностью она удивительно подходит домохозяину и благодаря этой внешности удостоилась быть его супругой. Ибо у Нанте Дудля свои особенные понятия о супружестве: в жене для мужа важны два качества – добросердечие и неутомимая ловкость хозяйских рук. И оба отличают Каролину. Благодаря этим качествам Нанте Дудль сумел соединить святое умение искусной работы мыс-

ли с обычной работой, не очень его обременяющей. Каролина Нанте с успехом справляется с управлением странноприимного дома и ресторана, с домашним хозяйством, с мужем Нанте, с первенцем Бартоломеусом и еще не отлученной от груди Магдаленой, вдобавок ко всем родным и близким и множеству поклонников ее мужа, идола их юности, Нанте Дудля. С некоторой подозрительностью смотрит Каролина на своего взволнованного мужа.

– Линхен, замени меня у стойки, а я позову графа.

– Графа? В такую рань?

– Дело не терпит отлагательств, – извиняется Нанте Дудль. – Ему пришло письмо, – и он указывает на Иоанну.

– Письмо? Но его может отнести Бартоломеус. Бартоломеус! – окликает первенца Каролина звонким и чистым своим голосом. Появляется подросток лет четырнадцати, носом в отца, а ростом и округлостью в мать, форма на нем молодежного социал-демократического движения, в руках у него – большой ломоть хлеба.

– Сходи к графу и передай ему письмо! – приказывает ему Каролина.

– Письмо я передам ему сам! – в голосе Нанте Дудля решительные нотки.

– Ты! – раздражается криком Каролина. – Всегда ты!

Дело с графом с давних пор всегда является предметом спора между Нанте Дудлем и его женой. Нанте Дудль не жалеет хвалы своему другу графу, а супруга его Линхен настро-

ена против всего этого графского сословья, и графа, которого восхваляет муж, в частности. Она верна Республике! И обычно каждую такую словесную перепалку по этому поводу Нанте Дудль завершает решительным заключением: его граф не такой, как все эти графы!

Началось это дело Нанте с его графом после Мировой войны. День за днем, в обед, приходил в ресторан Нанте Дудля молодой человек, занимающийся изготовлением вывесок и реклам в небольшой мастерской напротив странноприимного дома. И, несмотря на его более чем скромное питание и весьма потертую и вымазанную краской хламиду художника, Нанте почувствовал в нем коренное отличие от ремесленников тех же мастерских, подбирающихся по мусорным бакам: в этом ощущался истинный господин, пришедший совершить трапезу. Во-первых – ослепительная внешность! Он был высок ростом, ровень самому Нанте, крепок, мускулист, с четкими и мужественными чертами лица. Станным был лишь взгляд его глаз на красивом лице. Они были голубыми, светящимися, подобно алмазам, но без всякого выражения. И был он молчалив, словно дал обет молчания. На вопросы Нанте не отвечал, и только белая его ладонь постукивала длинными и нервными пальцами. Убирая после него посуду, Нанте находил на столе фигурки человека или животного, слепленные из хлебной мякоти.

– Линхен, – полный удивления, звал Нанте жену, но та громко сердилась по поводу такого использования хлеба и

гасила восторженность мужа:

– У парня мертвые бездушные глаза.

Однажды гость удивил Нанте Дудля, и кто не видел Нанте в тот день, не видел по-настоящему счастливого человека. Гость наконец-то открыл рот и заговорил о том, что хочет снять комнату в его доме. Ему важно, объяснил он, чтобы место его пребывания было напротив места его работы.

Когда на следующий день домохозяин принес жильцу бланк регистрации в полиции, и тот большими печатными буквами написал – «Граф Оттокар фон Ойленберг», Нанте почувствовал слабость в коленях и почти осел от внезапного потрясения:

– «Ойленберг», – сказал он шепотом от большого почтения, – откуда это?

– Из Померании. Усадьба моего отца.

– Отец. А вы откуда, господин граф? – Нанте обвел словно пробудившимся взглядом, свой ресторан, всю эту скудную и грубую мебель, и, несмотря на то, что был ревностным республиканцем, сердце его заняло жалостью к графу, которым так распорядилась судьба. – Тяжелые дни настали для вашего графского сословия в стране. И отец вас так оставил?

– Отец сам по себе, как и его усадьба, ну, а я – сам по себе, – отрезал графский сын.

Совсем немного вещей принес с собой в свою новую обитель юный граф. Предложил ему Нанте одну из роскошных комнат на первом этаже, но встретил отказ. Новый жилец

попросил большую комнату на чердаке. И, несмотря на то, что комната служила местом для сушки белья, выстиранного Линхен, а также местом обитания котов и кроликов и складом всяких ненужных вещей, освободил ее Нанте для графа. И тут открылось еще нечто из жизни графа! Вовсе не рисует вывески граф Оттокар фон Ойленбург, да и не художник он вовсе, а скульптор, и занимается покраской жести и стен для заработка, чтобы не использовать в корыстных целях истинное свое призвание. От всего сердца протянул ему руку Нанте, ибо оно с самого начала подсказывало ему, что человек из аристократической среды решил поселиться у него в странноприимном доме. И тайна его останется тайной между ними обоими: ведь и он, Нанте, немалой частью причастен к искусству, как верный поданный музыки! И граф тоже от всей души пожал руку хозяина странноприимного дома.

Выбросил Нанте из помещения всю стирку, весь хлам, который накопился еще со времен Бартоломеуса Кнастера, и в осенние вечера, когда ветер свистел во всех щелях странноприимного дома «С надеждой на лучшее», музыкант Нанте Дудль и скульптор граф Оттокар трудились дружно по превращению скудного чердачного помещения в храм искусства. Стены были покрашены, окна вымыты, электричество включено, а посреди храма была водружена железная печь. Осень приближалась к концу, когда оба явились к «графу» Коксу, который держал в одном из старых еврейских дворов предприятие по перевозке мебели и товаров, заказали телегу

и коня, и направились на склад около вокзала, где хранились в ящиках вещи и скульптуры графа. А затем грянула зима, та самая, тяжкая, послевоенная. В чердачном помещении железная печь искрилась огнем и исходила теплом, и каждый из мастеров занимался своим делом – граф корпел над необработанными глыбами камня, а Нанте Дудль – над мелодиями, рифмами и решением кроссвордов.

– Граф, – время от времени дискутировал с ним Нанте по поводу скульптур последнего, извлекал из кармана расческу, медленно расчесывал свои усики и с большой печалью взирал на большого идола, которого высекал граф.

– Граф, упаси Бог, навязывать вам свое мнение и вкус. Мне достаточно своих занятий, в которых я знаю толк, и не лежит у меня душа вторгаться в ваше искусство, в котором я недостаточно разбираюсь. Но, граф, у меня есть глаза и мозг. Извините меня, но все, что вы высекли из камня и продолжаете из него высекать, все это не в моем духе. Гуляю я по Берлину и вижу скульптуры царей, богов и святых на мостах и площадях, и получаю большое наслаждение. А у ваших скульптур ни образа, ни подобия.

Нанте указывает на идола обликом ширококостного упрямого крестьянина, держащего в двух своих руках два человеческих черепа, а третья голова, как полагается, расположена на шее. Три головы безлики, лишены черт и выражения. Смотрит Нанте на друга, беспокоясь, не обидел ли его, но видя, что лицо того спокойно, набирается духа и спрашивает:

– Не так ли, граф?

– Конечно, Нанте, – смеется граф, – так, и не совсем так. Я высекаю бога из камня. Но кривизна очертаний – дело моих рук и моего духа.

Нанте Дудль чувствует, как почва уходит у него из-под ног.

– Граф, – начинает он волноваться, – не дай Бог навязывать вам свое мнение. Мне хватит моего ремесла. Но, граф, не кажется ли вам, что это большая ошибка – высекать бога в облике крестьянина? Говорю вам, как человек опытный. Бог в облике крестьянина не может быть богом. Не так ли, граф?

– Вовсе нет, Нанте Дудль. Наоборот, древнему богу Триглаву, с тремя головами – прошлого, настоящего и будущего, лучшим образом и подобием подходит фигура упрямого крестьянина.

Нанте Дудль не сдается:

– Три головы? Граф, слишком много голов в единый раз, это, скажу я вам, работа так работа, но к чему такая забота?

На этом вечерняя дискуссия завершена, Нанте Дудль достает из кармана губную гармонику и наигрывает графу веселую песенку о том, как разбойница запутала неудачника и тот швырнул удочку в реку. А когда он попытался вытянуть ее оттуда, она сама потянула его за собой. Мертвые глаза скульптора даже не потептели чем-то похожим на слабую улыбку.

Годы, прошедшие с той зимы, сильнее укрепили их друж-

бу. Замкнутость и холодность графа несколько оттаяли, и сердце его немного открылось, но глаза оставались по-прежнему мертвыми и лишенными души, а на многочисленные вопросы Нанте Дудля об отце его и семье, отвечал одной и той же скупой фразой – «Отец сам по себе, как и его усадьба, а я – сам по себе». Но недолго продолжал граф красить жезь вывесок в маленькой своей мастерской, а достаточно скоро нашел прилично оплачиваемую работу и даже сколотил небольшой капитал. Он зарабатывал профессиональными советами в области рекламы для крупных компаний. Но при этом свою чердачную комнату в странноприимном доме не оставил, как и друга своего Нанте Дудля. И начал как-то тянуться к людям, чаще спускался со своего Олимпа в ресторан и сживал среди посетителей, и, главным образом, в базарные дни, когда странноприимный до отказа заполнялся крестьянами. Сидел в уголке и делал зарисовки их лиц.

– Граф, – с печалью и болью качал головой Нанте Дудль, – зачем вам тратить ваше драгоценное время и талант на этих? Не видите ли вы что ли, что ничего в них нет, кроме тупой головы, глупого сердца и скупой руки? Граф, прислушайтесь к словам человека, понимающего в этом деле. Солнце спекло их мозги, но не нашелся тот, кто добавит к этой выпечке специи мыслей и понимания, отсюда и тупость. Даже богу вашему не поклонятся.

Итак, в те годы граф был погружен в создание единственной скульптуры, того идола. Он стоял у чердачного окна,

невидяще глядя на реку Шпрее, бог Триглав, трехглавый бог древних варваров. Он посвящал этой скульптуре все свое время и всю свою душу. Вечерами и ночами, в часы отдыха и в дни праздника не выходил из мастерской, целиком отдаваясь этому коричневому идолу. Видел Нанте его абсолютное одиночество и очень скорбел по этому поводу. Как-то он выразил эту скорбь двустихием:

В рожденья день, набравшись новых сил,  
Неверующий мастер бога обновил!

Но, несмотря на это, неверующий мастер не нарушил своего молчания, отвечая другу лишь клубами дыма из курительной трубки. Не было у него ответа Нанте Дудлю, и коричневый идол продолжал стоять бесформенным намеком на бога.

– В этом есть какая-то тайна, – все же отвечал граф на бесчисленные обвинения, которые выдвигал Нанте против идола, и больше – ни слова.

Первенец Бартоломеус, безмятежно откусывая от своего ломтя хлеба, стоял, прижавшись к стене, получая удовольствие от спора отца с матерью по поводу графа.

– Я иду к нему! – сказал решительно Нанте Дудль и пресек спор.

Зал заполняет мелодия «Санта Лючии», покачивая волнами весь странноприимный дом. Место за стойкой занимает

Линхен, багровая от гнева, а напротив нее стоит, не сдвигаясь с места, Иоанна.

– Ну-ка, сдвинься, – раздается низкий голос за ее спиной.

Новый посетитель ресторана обладает большим брюхом и жирным потным лицом. Своим брюхом он сердито оттесняет Иоанну с места, и она оказывается рядом с Бартоломеусом, который тем временем проглотил свой ломоть. Руки он держит в карманах, а маленькие его наглые глазки изучают Иоанну.

– Что это за одежда? Что это за молодежное движение? – спрашивает первенец Нанте и Каролины.

– Еврейское молодежное Движение, – отвечает Иоанна.

– Только евреев? И это все?

– Только евреев. Но мы еще и сионисты, и социалисты, и скауты, и...

– Еще, еще и еще! Слишком много «еще»! – мямлит первенец и чуть не падает от смеха.

– Слушай, будешь смеяться, как дурак, я уйду отсюда.

– Ну и уходи, пожалуйста, – смягчает свой голос Бартоломеус.

Иоанна поворачивается спиной к этому наглецу, и отходит к раздаточному окошку. Около двери, за которой исчез Нанте Дудль, – свободное место: стол в темном углу, на котором посверкивает единственный пустой стакан. Иоанна чувствует себя несчастной – из-за неловкости своих движений, из-за своей жизни, из-за собственных повадок, из-за смеха

этого глупца. Зачем ей надо было отрываться от своих товарищей и вот прийти эту мрачную пещеру? Из раздаточного окошка доносится старческий надтреснутый голос, поющий песенку:

В небеса взлетел жучок,  
Повернись-ка на бочок.  
На войну ушел отец твой,  
Грустным будет твое детство.  
Мать не вышла из долины.  
В Померании руины.  
В небеса взлетел жучок,  
Повернись-ка на бочок.

Иоанна заглядывает в кухню. Морщинистая седая старуха напевает ребенку.

– Сядь, – слышен голос за спиной Иоанны.

Это Бартоломеус шел за ней следом. Иоанна не отвечает, лишь поднимает задиристо голову – доказать, что для нее этот мальчишка – пустое место.

– Сядь, – повторяет первенец Нанте и Каролины, – тебе же надо ждать моего отца.

– Ну так что?

– А то, что тебе надо сесть. Если он пошел за графом, то не так скоро вернется.

– Но дело срочное, и я должна уйти отсюда! – нетерпеливо вскрикивает Иоанна.

– Нечего кричать, – отвечает Бартоломеус, – ты должна сесть и спокойно ждать. У моего отца нет ничего более важного и срочного, чем беседа со своим графом.

Бартоломеус присаживается и смотрит на Иоанну, подпирая лицо ладонями. Выхода нет, и она садится напротив него. Молчание, подобно камню, застывает между ними.

– Все эти люди здесь, у вас, очень странные, – прерывает Иоанна молчание.

– Да, – подтверждает первенец, – странные. Мой отец коллекционирует странных людей, как я коллекционирую марки.

– Правда? – удивляется Иоанна толстяку, который оттеснил ее от стойки. – Что это за тип?

– Этот? Это – питон, – говорит первенец и, видя у собеседницы явно подозрительный взгляд, торопится объяснить:

– Это тот, который умеет чревовещать. В юности он чревовещал со сцены в развлекательных выступлениях, а теперь он толкает речи на праздниках, предвыборных партийных собраниях, которые его заказывают. Скажи, за какую партию вы голосуете там, в вашем Движении?

– Мы ни за кого, – отвечает Иоанна надменно, – мы вообще не голосуем, мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Германии. Но мы так же...

– Опять «еще» и «так же», – прыснул первенец, явно получая удовольствие.

– Ты снова начинаешь?

– Нет-нет. Чего нам ссориться? Погляди, эти, там, – парень показывает на выстраивающихся в ряд мужчин, собирающихся покинуть ресторан.

– А этот, там, – Иоанна чуть приближается к собеседнику и шепчет, – карлик среди высоких мужчин, тот, которого называют граф Кокс, он действительно граф?

– Граф, граф, – первенец всеми силами пытается сдержать смех, но это ему не удается.

– Снова ты ржешь, как дурак?

– А ты, а ты... Ха-ха! Откуда ты такая, что ничего не видишь и ничего не понимаешь? Граф! У него одиннадцать сыновей, и все такие высокие ростом, а он расхаживает между ними, как полководец, и кличка у него – Кокс... Ты что, не знаешь, что это – Кокс?

– Конечно, знаю, это такой сорт угля.

– Угля, угля! Ребенок! Есть у этого слова и другой смысл.

– Какой?

– Лучше тебе не знать.

– Почему?

– Ты наивна, и не стоит тебя портить.

– Стоит!

Первенец Нанте и Каролины смеется, а Иоанну просто изводит любопытство.

– И граф тоже такой? – пытается она выпытать у него еще что-нибудь.

– Граф? – румяное лицо Бартоломеуса расплывается в

улыбке, – нет, граф не такой, как они, он другой. У него учатся многому.

– Что я вижу! Поглядите, братья, мой сын и смуглая девочка секретничают в углу! Бартоломеус, я бы на твоём месте не выбрал именно эту, такую смуглую и тощую.

С явной приязнью дергает Нанте Дудль Иоанну за косички и подмигивает своему первенцу. В ресторане воцаряется тишина. Глаза всех обращены к дверям. Там, за спиной Нанте, стоит граф. Высокого роста, одет в черное. И шляпа его черная, но под ней белеет бледное его лицо. Он чихает несколько раз, громко, до слез в глазах, вытирает нос.

– Он болен, – шепчет Бартоломеус Иоанне, – каждую весну нападает на него такая вот болезнь, называют ее, кажется, весенней лихорадкой.

– Вот она, – гремит голос Нанте Дудля, – эта вот, смуглая уродина, принесла письмо.

– Ты кто? – протягивает граф руку покрасневшей девочке.

– Иоанна Леви.

– Из семьи Леви?

– Да.

– Очень приятно. Когда я жил на площади, у своей тети, ты еще не родилась. Тогда в вашем доме все были светлоглазые и светловолосые.

– Да, я единственная брюнетка в семье, – тихо отвечает Иоанна.

– Смуглая и красивая, – доброта слышится в голосе графа,

и Бартоломеус улыбается.

Приступ кашля снова нападает на графа, он прячет нос в платок, извиняясь перед Иоанной. С жалостью смотрит Иоанна на простуженного графа. Несмотря на воспаленные глаза и красный нос, он кажется Иоанне очень красивым.

– Пошли, – граф кладет руку на ее плечо.

«О, Сюзанна, прекрасна наша жизнь!» – наигрывает вертящаяся дверь.

На улице Рыбаков солнечно смеется день. Празднично одетые люди опираются о парапет, тянущийся вдоль реки. Дети играют деревянными палочками, к которым прикреплены длинные бечевки, и ударяют ими по подпрыгивающим и вертящимся волчкам. Воробьи скандалят на деревьях, солнце вселяет хорошее настроение, легкий ветерок поигрывает волнами реки. Граф поднимает воротник пальто и прячет в него лицо.

– Я хожу в весенний день и пускаю слезы, – шепчет он.

– Это не очень приятно, – соглашается Иоанна и скользит рукой по парапету.

Граф ростом выше всех этих людей, греющихся на солнце вдоль реки. Он широко и энергично шагает, и Иоанна семенил рядом, как дрессированный воробей.

– Это Урсула принесла письмо к вам в дом? – склоняется граф над Иоанной.

– Нет, господин, письмо она дала мне в доме принцессы.

– Так ты была в доме моей тети? Ты с ней сблизилась в

последние годы?

– Нет, господин, никакого общения с ней у меня не было. Я впервые была в доме «вороньей принцессы», только сегодня...

– Извини, как ты назвала мою тетю?

– Господин, – Иоанна кусает губы и краснеет, – извините меня, мы ее так всегда называли – «воронья принцесса», она всегда ходила в черном, и каждый день приходила к озеру кормить ворон.

– Черная воронья принцесса. Да, да, – бормочет про себя граф. – Дети всегда ближе к правде. – Граф гладит девочку по голове, и от этого приятное ощущение разливается по всему ее телу.

Они проходят мимо лодочной пристани, по деревянно-му, наклонно раскачивающемуся над водами Шпрее мостику. Около моста старое высоченное толстое дерево, большое и наполовину мертвое. Как огромный костистый скелет, протягивает оно суковатые свои пальцы. И на редких его ветвях, склоненных над рекой, зеленеют остатки игольчатой хвои. Старики сидят на больших камнях под деревом, грея кости на весеннем солнце. На мосту стоят старые ржавые бочки из-под горючего. К железным столбам, торчащим из воды, привязаны небольшие лодки, и волны немолчно ударяют в их борта.

– Забыл твое имя, детка, – вдруг встрепенулся граф.

– Иоанна.

– Иоанна, гмм. Был у меня друг по имени – Иоанн. Иоанн Детлев.

– Я знаю. Видела его портрет.

– Ты хорошо сделала, что принесла мне письмо, Иоанна, – граф продолжает гладить Иоанну по голове.

– Ничего особенного в этом нет, не стоит благодарности, господин, – бормочет девочка. И хочет она объяснить ему, что значит – быть «помощником, на которого можно положиться», но вовремя прикусывает язык. Несомненно и он, как все, будет смеяться, если она начнет рассказывать о Движении. Не хочет она, чтобы он смеялся над ней, и охватывает ее большой стыд, что она из-за графа как бы отрекается от Движения.

– Кто сейчас в доме тети, Иоанна, одна Урсула?

– Нет, наш садовник тоже там.

– Ваш садовник? Я его хорошо помню. Я отлично помню всех членов вашей семьи. Гейнца, Эдит, девушек. Все, думаю, уже обзавелись семьями, детьми.

– Нет, у Эдит есть жених, а у Гейнца нет никого. Но родился у нас еще один по кличке Бумба. И сегодня у него день рождения.

– Вижу, в вашей семье все идет, как надо. А как здоровье твоей красавицы матери?

– Мама моя умерла, – Иоанна опускают голову над перилами, глядя на волны Шпрее, набегающие на дерево, прибавляя к зелени хвои голубизну неба и металлический отте-

нок вод.

Старый Берлин и лодочная пристань – за их спиной. Гигантский стальной кран высится над рекой. Вдоль берегов тянутся длинные приземистые складские помещения. Вымытые чистые пароходы и большие грузовые корабли плывут по реке.

Нос Иоанны прижат к стеклу вагонного окна. Есть, что видеть и на что смотреть сегодня! Стены серых домов воспламенены алыми буквами, багрянцем флагов и лозунгов. Большие картины и плакаты на оконных карнизах. Город Берлин вышел на предвыборную войну по избранию президента страны, и по шуму и цветистости стен, лозунгов и флагов кажется, что весь город охвачен карнавалом.

Огромная картина встает перед глазами Иоанны – «Против Версальского договора!» – провозглашает лидер коммунистов Тельман в знакомой своей кепке. Свободы и хлеба! – вопит стена красными буквами. Из ветхого трактира торчит красный флаг с фашистской свастикой. С выброшенной вверх рукой стоит фюрер, приклеенный к дымовой домово́й трубе. У ног его опять же вопят буквы – «Против Версальского договора! Да здравствует Адольф Гитлер! Долой власть евреев в государстве!» – гремит лозунг, перекатываясь от окна к окну. Гинденбург с искаженным от гнева лицом мелькает над крышами городских зданий.

– За кого господин голосует? – спрашивает графа Иоанна.

– Извини, Иоанна, что ты спросила?

– За кого вы голосуете?

– А-а? За кого я голосую? – улыбается граф. – Я не из тех, кого интересуют избирательные урны.

– Это плохо! – сердится в голос девочка.

– Что плохо, детка? – продолжает улыбаться граф, глядя на ставшее весьма строгим лицо Иоанны. – Что тебя беспокоит?

– Беспокоит, что вы не идете голосовать! Каждый индивид обязан отдать долг во имя коллектива! – Иоанна повышает голос до того, что сидящий за ними мужчина поворачивает голову к ораторствующей девочке.

– Где ты учишься такой языковой патетике? – удивленно спрашивает граф.

Если граф так не смеялся, Иоанна рассказала бы ему о Движении, и беседах на тему важности выборов президента государства. Но шутливое выражение лица графа не располагает ее к откровениям, и она ограничивается репликой:

– Есть такие, которые научили меня.

Мужчина за их спиной шелестит газетой «Ангриф», издаваемой Гитлером. Напротив него сидит парень, на лацкане одежды которого значок коммунистического спортивного общества.

– Прошу вас, молодой человек, уберите ноги. Скамья не только для вас одного, – выговаривает владелец шелестящей газеты парню, сидящему напротив.

– Прошу прощения, – смеется парень громким задири-

стым смехом, – я вас не видел из-за этой вашей газеты, – как бы подчеркивая этим – мол, не заметил, что наступил вам на мозоль, – и громкий его смех разносится с одного края до другого края вагона. Лица всех поворачиваются ним.

– Наглость! – кричит мужчина из-за страниц газеты.

– Он прав, – шепчет Иоанна своему графу.

– Кто прав? – спрашивает граф. – Этот господин, которого оттеснили?

– Этот? – вскидывается Иоанна. – Да он же читает «Ан-гриф». Как он может быть прав. Он же нацист.

– Детка, справедливость и прямотушие – отдельно, а политика – отдельно.

Поезд останавливается. Парень выходит из вагона сильными мужскими шагами.

– Еврейская собака! – бросает ему вслед владелец газеты.

– Я... – лицо Иоанны багровеет, она почти рванулась в сторону мужчины, но граф хватает ее за косички и возвращает на место.

– В какой ты учишься школе, Иоанна? – спрашивает граф.

– В гуманитарной гимназии имени королевы Луизы, – все еще сердитым голосом отвечает Иоанна.

– Поглядите, – удивляется граф, – в гимназии имени королевы Луизы? А я учился в параллельной мужской гимназии имени кайзера Фридриха Великого. Иоанна, все еще доктор Гейзе преподает вам греческий язык?

– Нет! Доктор Гейзе наш директор. И к тому же он друг

моего отца.

– Интересно.

– Что тут интересного?

– Доктор Гейзе был моим любимым учителем, – словно бы самому себе говорит граф.

Поезд останавливается на центральной станции города, откуда рельсовые пути разбегаются во все стороны. Перроны черны от люда. Открываются двери вагонов, и мгновенно налетает шум голосов, шарканье ног и толкотня. Мужчины в зеленых куртках, с широкими подсумками на боку, врываются в вагон. На фуражках – значки республики. У одного из мужчин в руках свернутый флаг. Они собираются в тамбуре вагона, оставляя скамейки вагона пустыми. Поезд трогается с места, и все вместе начинают петь в ритм движущихся колес. Трудно разобрать текст, кроме одного слова – «Республика! Республика!» – эта рифма завершает каждый куплет. Иоанна вперяет в группу сердитый взгляд, и даже приподнимается, чтобы лучше их видеть.

– Что случилось, Иоанна? – с беспокойством спрашивает граф. – Почему ты опять сердишься?

– Из-за Гинденбурга.

– Из-за кого?

– Гинденбурга. Представляют себя поклонниками республики, а голосуют за старого кайзеровского генерала.

– Но, Иоанна, ты ведь знаешь, что генерал верный страж республики.

– Это не имеет никакого значения, – голос Иоанны становится еще более сердитым, – вы, верно, не читали книгу Фливьера «Кайзер ушел, а генералы остались».

– Нет, – говорит виновато граф, словно пойманный за нарушение, – не читал.

– Интеллигентный человек обязан прочесть эту книгу, – голосом дрессировщика произносит Иоанна.

– Гром и молния! – вырывается у графа выражение Нанте Дудля. – Кто тебя учит всему этому?

Нос Иоанны опять прижимается к стеклу окна. Огромный плакат вопит в лицо Иоанны со стены – «Мы не являемся пушечным мясом Круппа!». И она абсолютно с этим согласна. Поезд летит. И снова станция, и снова поезд вырывается из сплетений вокзала и грохочет по рельсам. Теперь сады сменили вдоль железнодорожного пути прежние серые дома.

– Приехали! – встает Иоанна. – Станция «Зоопарк».

Вместе с ними вагон оставляет группа в зеленых плащах.

Они на широком проспекте. Разные дороги ведут с этого проспекта в глубину мегаполиса. От вокзала проспект прямо ведет к роскошной церкви. Свистки паровозов сливаются со звоном колоколов, лязгом несущихся трамваев, гулом автомобилей и шарканьем огромных людских масс. По обе стороны проспекта – многоэтажные дома, и вдоль тротуаров клены простирают свои купола поверх сплетений электрических проводов, натянутых и напряженных ночью и днем.

– Фу, – говорит Иоанна, – поглядите – сколько здесь зна-

мен со свастиками.

– Иоанна, – выговаривает ей граф, – ты не можешь ни о чем думать, кроме этих выборов? Обрати внимание и на другие вещи.

– На что мне обращать внимание?

Рядом с ними шумное собрание людей в зеленых плащах. Над ними развевается трехцветный флаг – черный, красный, золотой.

– Смотрите, они идут туда, – указывает Иоанна на огромное здание кинотеатра. Вместо портретов кинозвезд, висит гигантский портрет Гинденбурга, который топорщит усы в сторону прохожих. Масса людей движется в сторону кинотеатра. Граф тянет Иоанну на противоположную сторону улицы, к воротам зоопарка. Колоссальной величины деревья выглядывают из-за его забора. Лебеди плавают по маленькому озеру, тонкоствольные клены и березы покачивают ветвями, а между ними высеченные из камня небольшие животные кажутся хранителями этих волшебных пространств. На воротах большие часы, а под ними – маленькие, минутные. С каждой уходящей минутой в беззвучном ритме меняется табличка на циферблате. И так они, одна за другой, исчезают в бесконечности времени, с аптекарской точностью считая минуты год за годом.

– Надо поторопиться, – говорит граф, глядя на часы, отсчитывающие минуты. Это впервые граф намекает на цель их похода.

Каждый раз Иоанна удивляется заново: сколько надо ждать, чтобы прошла минута. Вот она и прошла, и граф тем временем исчез. Сейчас он стоит у доски объявлений. «Общество любителей Гете» объявляет о начале нового сезона мероприятий в «год Гете», который откроется через неделю, 22 марта, в столетие со дня смерти великого поэта. В эти дни состоятся собрания, лекция и выставки, которые почтят своим присутствием уважаемые граждане города, мэрия объявила конкурс скульптур – к воздвижению памятника поэту в центре столицы. Граф одиноко стоит перед доской объявлений. Из потока людей, снующих во всех направлениях по улице, никто не присоединяется к нему. Есть еще достаточно много, на что можно смотреть на берлинской улице, кроме объявления «Общества любителей Гете». Рекламные пузатые тумбы вдоль улицы притягивают взгляд афишами, фотографиями, цветными картинками. Целые развернутые свитки опоясывают их округлые бока. Глаза голодного ребенка, сапог, раздавливающий головы, жерло пушки, наставленное на толпу, человек с горбатым обвислым носом и пухлыми мешками денег в руках, полными монет. Знак свастики угрожает ему. Тельман, Гитлер, Гинденбург присоединяются к этой общей кричащей картине большими цветными портретами. Телефонные и электрические столбы, все, что торчит и вздымается, включая шеренгу кленов, – участвуют в этой суматохе букв и картин.

– Вы читаете объявление о любителях Гете? – Иоанна под-

ходит к графу. – Мой отец тоже член этого общества. Видите имя доктора Гейзе! – указывает Иоанна на список уважаемых граждан города, которые почтят своим присутствием мероприятия праздника.

– Да здравствует Адольф Гитлер! Граждане. Отдавайте ваши голоса Адольфу Гитлеру! – оглушительно орет репродуктор с движущейся машины. Штурмовики в форме замерли в кузове по стойке смирно. Машина движется медленно, и шуршание знамени рассекает воздух улицы. Массы людей замирают шеренгами вдоль улицы в почтении к движущейся машине.

– Отдайте ваши голоса Адольфу Гитлеру! – море рук вздымается вверх и рев заглушает голоса животных в зоопарке.

– Адольф Гитлер! – ревет репродуктор.

– Вы думаете, они победят? – испуганно спрашивает Иоанна.

– Надеюсь, что нет.

Машина движется по улице и возвращается, минуя гневный портрет Гинденбурга на фасаде кинотеатра, перед которым стоит группа в куртках и рвет глотки стараясь заглушить орущий репродуктор. И масса с воодушевлением участвует в этом споре. В стальных касках, прикрепленных к лицам кожаными ремешками, полицейские отделяют шумную группу в куртках от еще орущей машины. Полицейские на лошадях наступают на машину.

– Проезжать! – приказывает офицер полиции, и в ответ – залп листовок накрывает толпу. Взлетают листовки на ветру, падают на тротуар, люди торопятся их поднять. С наглостью пробирается машина между аплодирующими шеренгами.

Когда они добрались до площади, ожили мертвые глаза графа. Опустил он воротник пальто и потер покрасневший нос, стараясь вдохнуть аромат весеннего воздуха. Оперся о забор дома умирающей тетушки, глядя на игры ворон на солнце: верно, потомки тех ворон, которые орали здесь в дни юности у окон его комнаты. Тишина на площади столь глубока, что шорох деревьев и чириканье птиц кажется оглушительным. Здесь окраина столицы, ни один флаг не развевается на ветру, никаких криков, никаких плакатов на столбах и на стенах.

– Зайду в дом, – с трудом говорит граф, ибо новый приступ кашля от весенних ароматов одолел его. Прижав платок к носу и кивнув в сторону Иоанны, он входит в ворота дома, но внезапно останавливается, поворачивает лицо и возвращается.

– Иоанна, – он берет ее за косички, она печально смотрит на него, – забыл тебе сказать. Когда я вернусь туда, в мой дом в старом Берлине, приходи проведать меня. Я покажу тебе интересные вещи, ладно?

Движением головы она выражает согласие. Хочет сказать ему, что пойдет с ним в дом умирающей принцессы, и все время будет рядом с ним. Но в проеме двери стоит Урсула с

весьма сердитым лицом.

Дверь закрывается дверь за Урсолой и графом с сердитым стуком.

## Глава вторая

– Уважаемый господин, фотограф пришел!

Это возвестила молоденькая румяная служанка Кетхен гостям, собравшимся отпраздновать день рождения Бумбы.

Праздник в разгаре, и нет более подходящего красивого дня для такого события. Воздух ослепителен, небеса по-новому обрели голубизну, все окна распахнуты, и занавеси развеваются на весеннем ветру, разгуливающим по комнатам. На ветках каштанов, на аллее, раскрылись почки, и кипарисы взметают ввысь свою сверкающую зелень.

– Уважаемый господин, фото... граф пришел!

Кетхен в проеме двери, вся выглаженная, сияет белизной, она выпевает свое сообщение, и нога незаметно, под платьем, выстукивает ритм мелодии, доносящейся из столовой. В распахнутые настежь двери видит Кетхен со своего места фортепьяно, а за клавишами красотка Марго наигрывает мотив танцующим парам.

– Ах. Господи-и-ин, фото-о-о-граф прии-и-шел!

Напев обращен к деду, но он его не слышит. Дед скрыт в проеме окна и погружен в беседу с одним из гостей. Между развевающимися занавесями видны знакомые фигуры, словно представленные вместе в этот миг перед тем, как выйти на сцену. Дед высок и худ, прям спиной, пышные усы расчесаны и стоят торчком, а в петлице неизменный цветок. С высоты

своего роста смотрит он на седую растрепанную шевелюру собеседника, низенького, с большим брюхом, явно страдающего недержанием речи, направленной в сторону деда.

Это Арнольд Вольф, младший брат доктора Вольфа, домашнего врача дома Леви. Ему, в отличие от брата, не повезло, у родителей не было средств, чтобы и его учить в университете на врача, как их первенца. Но Арнольд этим не был огорчен. Продажа вин, которой он занялся, принесла ему большое богатство и была успешным предприятием вплоть до самого начала Мировой войны. После нее пришли плохие годы. Арнольд Вольф обанкротился. Тогда он открыл в центре города большой магазин женских принадлежностей, в котором продавались в том числе тысячи видов пуговиц. Почему именно для женщин? Ибо воистину верил в успех у прекрасного пола. Но ошибся и вторично стал банкротом, и от магазина у него лишь осталась фотография, где он стоит перед витриной и над ним весьма впечатляющая вывеска «Посылки товара во все части света!». После вина и пуговиц он переходил в поисках заработка с места на место, но всегда конец был один – банкротство. Низенький Арнольд Вольф считает, что не виновен в своих несчастьях, а виновно само неудачное время.

Но вовсе не так думают окружающие родные, близкие и друзья. И прозвали его – «вечный банкрот». Теперь он занимается разными весьма странными делами. На своем небольшом автомобиле разъезжает по ближним селам и продает

крестьянам предметы парфюмерии. И так как ему нечем заниматься, он отслеживает дела крупных дельцов, и буквально начинен информацией о мире бизнеса. По этой причине его приглашают в дома крупных бизнесменов, как советчика. Особенно в делах биржи. И не было у него большего удовольствия, чем дать удачный совет и коснуться самых глубоких секретов, связанных с текущим бизнесом.

– Я говорю вам, что эта фирма сегодня на бирже колеблется, – уверенно вещал он. Так стал он биржевым агентом деда, а надо сказать, что дед начал «играть на бирже», и только ради собственного удовольствия, как говорится, всунул голову в это дело. Metallургическая фабрика «Леви и сын» существует и работает. Беспокоиться нет причин, но и нет заказов, способных поднять дух владельца. Дела невелики, как, например, изготовление ванн и чего-то подобного. Гейнц – этот «недостойный сын достойного отца» – доволен тем, что есть, и называет себя «главой банщиков Берлина» и сам смеется над этой явно безвкусной кличкой. Производство ванн – дело уверенное, объясняет он деду, и нет у Гейнца прежней тяги к большим заказам, в которых таится много опасностей. Но дед – о, дед! Не может он довольствоваться малыми делами, как внук его Гейнц. Дед любит напряжение и опасности, любит взмывать к небесам.

– А я говорю вам, – постановляет «вечный банкрот», – фирма «Штерн и сыновья» стоит крепко, положитесь на меня!

– Если так, я не могу положиться на сообщение, которое ты мне принес сегодня.

– Что? Не можете... – рот этого маленького человечка открывается и закрывается, как у рыбы на воздухе, – поверить в сообщение, которое я вам принес? – и он ударяет себя в грудь.

– Нет, – гремит дед без всякой жалости, – пока я не узнаю, что заставляет Штерна продавать семейные акции, я тебе не могу верить.

«Вечный банкрот» печально опускает голову. Речь идет о самом большом предприятии по производству латуни в центре Пруссии, около реки Шпрее, основанной четыре поколения назад семейством Штерн и в течение многих лет владеющим контрольным пакетом акций. А сегодня «вечный банкрот» сообщает деду, что Габриель Штерн, начал продавать семейные акции большим фирмам, производящим латунь, в Англии и Франции, и намеревается вообще оставить дело.

– Ну, почему он продает акции? – говорит дед и смотрит в сад, где легкие и тонкие туманы витают над лужами и тропами.

– Господин, фотограф пришел! – выглаженная Кетхен пробилась к окну.

– Фотограф, – отмахивается дед, – пусть ждет в передней, пока понадобится.

– Но господин, он говорит, что его вызвали к двенадцати часам.

– Подождет, подождет, – теряет терпение дед. – Я же сказал тебе. Пусть подождет.

Шурша передником, Кетхен исчезает.

– Ты говоришь, что акции компании «Штерн и сыновья» выставлены на продажу, – говорит дед в затылок маленькому человечку.

– Все, что я говорю, правда, слово в слово. Все на продажу. Если вы желаете, я могу поинтересоваться этими акциями.

– Сделай это, – говорит дед и вновь обращает взгляд поверх сада, словно видит вдалеке что-то, что видно ему одному. – Гммм... Габриель этот. Я хорошо знал его отца. Провинциальный еврей. В молодости я ездил к нему по делам производства металлов, главным образом, железа. Ходили мы рыбачить на реку Шпрее. Отлично скакал на лошади. Но, поверишь ли, больше любил рассуждать о Боге и религии, чем о стали.

– Поверю, поверю, – говорит «вечный банкрот», стараясь прервать поток речи деда.

– Он брал в контору только евреев, целую общину собрал там, на своей фабрике. Когда вечерело, все сотрудники шли на минху. Всегда было наготове десять евреев для миньяна, – дед смеется от души. – Синагога, а не бизнес. Но мне он жаловался на своего сына Габриеля, считая его авантюристом. И теперь вот сынок распродает семейные акции. Знал бы это старик.

– Авантюрист, – шепчет «вечный банкрот», – абсолютный

авантюрист. И нечего этому удивляться. Об этом шепчутся во всех углах, или вы об этом не знаете?

– Что? – Спрашивает дед. – О чем шепчутся во всех углах?

– Говорят, – голос «вечного банкрота» становится почти неслышным, – говорят, что мать Габриеля, жена Ицхака Штерна, который слишком много молился... Йегудит Штерн, дочь из семьи мудрецов и ученых из города Гамбурга...

– Что говорят? – нетерпеливо спрашивает дед. – Что такого говорят?

– Говорят, что Йегудит Штерн в молодости была красавицей и весьма горячего нрава. И когда в тихом и умеренном доме мужа встретила с другом их семьи, известным врачом...

– Ну, что тогда было?

– Тогда родился первенец Габриель, который сейчас продает семейные акции.

– А-а, – сердито отмахивается дед, – сплетни, – и глаза его явно враждебно смотрят на собеседника. Дед не любит сплетни такого рода. Он всегда с пониманием относится к человеческим слабостям. И низкорослый гость оскорбленно замолкает.

– Гмм... – возобновляет разговор дед после долгой паузы, – в отношении продажи акций, ты, быть может, первым делом осторожно повернешь с ним беседу в сторону того, чтобы он встретился с моим внуком Гейнцем. Может, в результате такой беседы он захочет взяться за настоящее дело.

– Мне действительно надо это сделать, – опять в лице гостя появляется блеск.

– Мне ведь, кажется, сообщили о приходе фотографа?

– Сообщили, – говорит гость.

– Самое время для фотографирования, – решает дед, глядя на сад, – свет яркий и день чудесный.

\* \* \*

В сумрачном, серьезном зале, где уединяется для размышлений господин Леви, – громкий гул голосов. Почти дюжина бесед ведется одновременно, смешиваясь со звуками фортепьяно, доносящимися из столовой. Кудрявые девицы пригласили на день рождения Бумбы трех длинноволосых парней и двух коротко остриженных девиц. Франц и его друзья-спортсмены, приход которых является большой честью для Бумбы, говорить умеют лишь громко и все разом. Они наполняют дом молодым смехом и легкомыслием. Бумба вертится между ногами всех, и радости его нет предела. Попугай, которого дед тоже принес в подарок, орет, не умолкая: «Я несчастен, госпожа!». Пес Эсперанто сердито подвывает попугаю, и Фрида громким голосом, перекрывающим всех, дает указания служанкам. Среди всего этого гамма с безмятежным видом сидит «мальчик из класса», глухой друг деда, и без конца ест соленые баранки.

– Господин, – возникает Фрида в проеме двери, закрывая

своим широким телом дорогу деду, и в голосе ее слышатся нотки отчаяния, – я спрашиваю вас, господин, когда и где подготовить стол к обеду, если столовая полна скачущих жеребят?

– Где, где? – заглядывает дед в столовую.

Там сдвинут в сторону стол, и коротко остриженная Марго энергично наигрывает на фортепьяно, а длинноволосый блондин напевает куплеты. Кудрявые девицы танцуют в объятиях еще двух блондинов. Эдит танцует с Эмилем Рифке. В углу сидит Фердинанд с вегетарианкой Еленой, проживающей сейчас в доме Леви и готовящейся стать сестрой милосердия.

– А-а, жеребята, – с большим удовольствием повторяет дед, – пусть себе скачут. – И он убегает от Фриды, посылающей ему вслед поток сердитых слов и тоже бегущей искать спасения у господина Леви, сидящего, как обычно, в кресле в углу и погруженного в беседу с доктором Гейзе и священником Фридрихом Лихтом, ставшим другом семьи благодаря членству в «Обществе любителей Гете». Гейнц стоит за креслом отца и скучным взглядом озирает шумную комнату.

– Господин! Я спрашиваю вас, господин...

– А-а, Фрида, лекарство я уже принял, – Леви неотрывно слушает священника. На лице Фриды – выражение абсолютного отчаяния.

– Могу ли я вам чем-то помочь? – улыбается ей Филипп.

– А, доктор Ласкер, я спрашиваю вас, где можно пригото-

вить обеденный стол?

– Фотограф пришел! – восклицает дед, вернувшийся с фотографом, и движениями рук пытается выпроводить всех из гостевого зала в большую и светлую трапезную.

Дочери заставили отца заплатить уйму денег, чтобы обновить темную и старую столовую, любимый зал прежних хозяев – прусских юнкеров. Была убрана дубовая обшивка стен и заменена цветными шпалерами, убран «Дремлющий старик» Рембрандта, и место его заняли три голубые лошади.

Вместо тяжелой мебели – легкие стулья и кресла, отделанные шелковой бахромой. Только оставленный камин напоминал о прежней комнате. Дочери поставили туда красные абажуры, и комната запылала огнем. И со стены на обновленную комнату взирала серыми внимательными глазами покойная госпожа Леви.

– Прежде надо сфотографировать стол с моими подарками, дед, – потребовал именинник, держа в руках клетку с орущим попугаем. Веснушки на лице Бумбы лучились от счастья. Рыжая его шевелюра была напомажена бриллиантовым Фердинанда. Сегодня, в день своего рождения, Бумба ни за что не хотел облачиться в ненавистную ему белую матроску. Сегодня он одет в синий пуловер с круглым воротником, и похож на спортсменов, друзей Франца. Вчера он нанес визит, согласно семейной традиции, перед днем рождения, домашнему врачу – доктору Вольфу, который измерил его рост. Выяснилось, что Бумба за год вырос на много сан-

тиметров, что преисполнило его гордостью.

– Стол с моими подарками, дед! – сегодня желание Бумбы – закон. Фотограф устанавливает напротив стола свой фотоаппарат на длинных и тонких ножках треноги. Сверкающий велосипед, часы, настоящий мужской портфель вместо прежнего школьного ранца, белый шелковый головной убор со значком гимназии, куда в будущем должен перейти Бумба. Пробочный пистолет, книги, боксерские перчатки, и среди всего этого – подарок Иоанны – большой портрет Теодора Герцля, глаза которого с озабоченным видом глядят на море подарков Бумбы.

– Где Иоанна? – спрашивает отец, стоя рядом с Бумбой.

– Здесь, отец, – кричит Бумба и извлекает из кармана письмо, – тут она все написала, – и на лице его – гримаса неудовольствия подарком Иоанны, от которого никакой пользы.

– Фрида, – хмурится лицо господина Леви, – кажется, я запретил девочке уходить из дома.

– Господин, вы запретили ей! Она что, прислушивается к таким запретам? Делает лишь то, что ей взбредет в голову. Иоанна, говорю я ей, разве должна девушка двенадцати лет носить целыми днями эту серую убогую одежду? Что скажут люди? А она, господин...

– Довольно, Фрида, – морщит лоб господин Леви, – поговорим вечером.

Но дед приходит на помощь Фриде.

– Фердинанд! – громким голосом прекращает он все беседы в комнате.

– Да, господин, – поднимает голосу Фердинанд в углу комнаты, – если я не ошибаюсь, тут упомянули мое имя, о чем речь, пожалуйста?

– О чем речь? О чем речь! – выходит из себя дед. – Об Иоанне речь! Твоя обязанность за ней следить. Почему она ушла из дома, а-а, Фердинанд?

– Господин, речь об Иоанне? А-а? – Фердинанд тянет слова, как жвачку. – Если речь об Иоанне, я не виноват. Да она проскользнет в замочную скважину, если ей надо будет пойти в этот ее «Вандерфогель».

– Ее «Вандерфогель»! – сердится дед. – Это все, что ты можешь сказать? Я преподам ей урок, этой юной последовательнице раввина.

– Я несчастен, госпожа! Я несчастен, госпожа! – орет попугай.

– Отец! Ты не нашел во всем Берлине ничего лучшего, чем этот попугай?

– Нет, – еще не остыл дед, но тут в образовавшейся безмолвной паузе лицо его просветляется, и он провозглашает:

– В сад, гости дорогие, все – в сад! Фотографироваться!

– В сад, – вторит ему Фрида, – наконец-то можно будет приготовить обеденный стол.

Сад залит солнцем. Омыт весенними дождями. Сверкает в полдень. Ветер шуршит между высокими деревьями, скан-

далят воробьи, ласточки, которые уже вернулись с чужбины, летают между вершинами деревьев. Голуби отряхнулись от дремы. Вороны кружатся, рассматривая своими холодными стеклянными глазами шумную толпу людей, гуляющую по саду и нарушающую тишину. Кусты белых роз, посаженных Эдит, все еще обернуты в ткани, предохраняющие их от заморозков. Тропинки кажутся бесконечными, как и бесконечное небо, и бесконечно счастье Эдит, слушающей голос Эмиля Рифке, поющего песню «Тереза спит у старого колодца». Голос у жениха Эдит густ и глубокий, и лицо ее мечтательно, словно бы весь свет в саду, все цветение весеннего дня предназначены только ей. Вдыхает Эдит воздух сада и запах влажной земли.

– Какая Эдит красивая, – произносит женский голос рядом с Филиппом, уставившим печальный взгляд в улыбающееся лицо дочери Леви. Молодая девушка с коротко стриженными волосами улыбается Филиппу. Ее облик напоминает ему Беллу. Тонкая фигура, темные волосы, стриженные под мальчика. Лицо смуглое, открытое, нежное, без намека на косметику. Глаза светлые, прозрачные. Одежда простая, без излишеств.

– Самая красивая из женщин, которых я видела, – говорит соседка Филиппу, – но рядом с этим мужланом она выглядит такой несчастной.

– Несчастной? – удивляется Филипп, вглядываясь в явно счастливое лицо Эдит. – Мне кажется, наоборот. Почему вы

так говорите?

– Так подсказывает мне мое ощущение, – девушка смущена. – Не могу смотреть на них, чтоб тут же не возникла в памяти история Ромео и Джульетты.

– Ромео и Джульетты? – смеется Филипп. – Не больше и не меньше. Почему? Из-за сильной любви, которая преодолевает все трудности?

– Нет, – краснеет соседка, – именно потому, что в наши дни невозможна такая сильная любовь.

– Вы так считаете? Вы, еще такая молодая, – бросает Филипп на нее заинтересованный взгляд.

– Этому научила меня жизнь. В наши дни слишком многое может встать между влюбленными.

– Разрешите представиться, – Филипп кланяется девушке. – Доктор Ласкер.

– Кристина.

– Кристина?!

Лицо девушки густо краснеет.

– Почему мое имя вызывало у вас такое удивление?

– Извините меня, – пришла очередь смутиться Филиппу, – извините меня, Кристина, просто в воображении я назвал вас абсолютно другим именем.

– Что это за имя, разрешите спросить вас? – светлые ее глаза расширяются.

– Мириам. Из одной колыбельной песенки. Быть может, вам тоже знакома эта песенка Гофмана?

– Нет, – огорчается Кристина, – не знакома мне эта песенка. Но имя Мириам вовсе мне не чуждо. Имя матери моей бабушки была – Мириам, а отца бабушки – Давид. Но саму бабушку называли Кристиной, а деда – Вильгельмом. А мне дали бабушкино имя.

– Но внешне, – Филипп всматривается в нее, и она смущенно опускает глаза, – внешне, Кристина, вы больше напоминаете Мириам.

Глаза Кристины, чудится, брызжут искрами.

– Чем вы занимаетесь, Кристина?

– Изучаю юриспруденцию в Берлинском университете.

– А-а, значит, мы коллеги по профессии, – протягивает ей руку Филипп, – я юрист. – И после долгой паузы. – Вы часто бываете в доме Леви?

– Да, часто. Инга моя подруга. Мы с ней подружились на уроках гимнастики. Дом Леви был почти рядом с нашим домом. Я не из Берлина.

– Как это здорово, Кристина, что вы любите спорт, – говорит Филипп с непонятым облегчением, и оба закатываются смехом.

– Вы – человек веселый, – говорит Кристина.

– Не всегда. Но сегодня у меня хорошее настроение, – говорит Филипп.

– Смотрите, – краска возвращается ей на лицо, – остались только мы вдвоем, давайте догоним всех, – она старается высвободить свою руку из его руки.

– Пожалуйста, – говорит Филипп, но руку ее не отпускает.

И так, рука в руке, молча, торопятся они по тропинке сада, пока не видят всю праздничную компанию. Последними идут Гейнц и «вечный банкрот».

– Ты, естественно, не знаешь новости, взбудоражившей деловой мир, а, Гейнц? – находит момент его собеседник, чтобы выполнить то, о чем просил его дед.

– Нет, – коротко обрывает его Гейнц, – не знаю и знать не хочу.

– Тебе стоит знать эту новость, Гейнц, – поправляет «вечный банкрот» очки, – не думай, что ты все знаешь и умнее всех. Тебе все же стоит получать дельные советы от человека, разбирающегося в больших делах.

– Так? Речь о больших делах? – выражает удивление Гейнц. Не очень-то он любит новые дела деда и его агента.

– Большие дела, без сомнения, – упрямится собеседник.

– Гммм... Ну, ну, послушаем и увидим.

– Ага! – радостно выкрикивает «вечный банкрот». – Ты не знаешь, естественно, того, что известно мне: Габриель Штерн продает семейные акции.

– Что это означает? – удивляется Гейнц.

– Это означает, что Габриель Штерн отстраняется от дел своей фирмы.

– Откуда тебе это известно? – с явным подозрением смотрит на человечка Гейнц. – На бирже, что ли, узнал?

– На бирже, на бирже! – в голосе человечка явная травма

от такого грубого незнания Гейнца. – Да разве акции такого гигантского предприятия будут продаваться на бирже? Их продают через банки, и это – тайна из тайн.

– Тайна из тайн, а тебе вот известна, – смеется Гейнец.

– Еще как известна. Мой родственник, вернее, двоюродный брат мужа сестры моей жены, работает в одном из банков, и не просто сидит у окошка кассы, а кое-что повыше. Он – родственник жены Габриеля Штерна, которая, и ты об этом тоже не знаешь, дочь простолюдинов. Точнее, дочь привратника отцовской конторы. По этому поводу когда-то разразился большой скандал. И нечему тут удивляться. Этот Габриэль шествует по жизни от скандала к скандалу, и один из них – то, что он женился на дочери привратника. Тебе неизвестно то, о чем шепчутся по углам. Короче, что отец Габриеля не... в общем, мать его в молодости...

– Господи! – сердится Гейнец. – Что за пустая болтовня? Ты действительно полагаешь, что сказанное двоюродным братом мужа сестры твоей жены меня интересует?

– Ах, – роняет «вечный банкрот» голосом оскорбленного человека, – эти молодые считают себя умнее всех. Ты имеешь право верить или не верить. Мне известно то, что мне известно. Акции он продает. Это факт.

– Но почему? Что за причина продавать акции одного из самых процветающих предприятий?

– Процветающих, – подтверждает «вечный банкрот», – весьма процветающих. Но человек он странный.

– Может, он болен?

– Болен? Я сегодня уже спрашивал Филиппа о его здоровье. Доктор говорит, что у него отличное здоровье. Нет. В общем-то, ты ведь не знаешь, о чем шепчутся по углам.

– Филипп, – удивляется Гейнц, – что знает Филипп о Габриеле Штерне?

– А-ха. Вот о чем я и говорил: ты не умнее всех и не знаешь всего. Тебе не известно то, что известно мне: Филипп и Габриель вместе создают комитеты сионистов.

– И что сказал Филипп? – иссякает терпение Гейнца. – Может, прекратишь эту болтовню?

– Болтовню... – прекращает разговор «вечный банкрот» с человеком далеко не умным. – Ладно, я тебе уже сказал: Филипп уверен, что Габриель абсолютно здоров.

– Господин! Господин! – возникает перед ними Бумба.

Он кружится среди гостей, то забегает вперед, то возвращаясь в хвост компании, вступая в разговор то тут, то там.

– Хочу задать вам вопрос.

– Спрашивай, сын мой, спрашивай, – «вечный банкрот» кладет руку на стоящие торчком волосы мальчика.

– Почему ваши отец и мать дали вам такое странное имя?

– Что странного есть в моем имени, мальчик? Разве странно звучит имя – Арнольд Вольф?

– Извините, господин, я слышал, что вас называют другим именем...

– Каким именем, мальчик?

– «Вечный банкрот». Не так ли, господин? Вас также зовут – «вечный банкрот», верно?

– Убирайся отсюда! – делает сердитое лицо Гейнц. – Как это пришло тебе в голову оскорблять пожилого человека?! – Гейнц и Бумба обмениваются улыбками заговорщиков.

Бумба убегает.

Во главе компании господин Леви беседует с господином Шпацем из Нюрнберга. А там, где Шпац, там – веселье. Бумба бежит туда, где веселье.

– Доктор Леви, у меня к вам вопрос, доктор Леви, – говорит Шпац.

– Сколько раз я говорил вам, молодой человек, нет у меня степени доктора, и не надо меня так называть.

– Но, уважаемый господин, уважаемый доктор Леви.

Вольдемар Шпац, владелец большой шевелюры, сопровождающий господина Леви, художник из Нюрнберга. Друзья называют его любовно и в насмешку – Шпац. То есть «воробей» из Нюрнберга. На носу «воробья» – очки, увеличивающие его глаза и делающие его похожим на филина. Волосы на голове – мелкими каштановыми кудрями, лицо нервное и, соответственно, движения. Он без конца подтягивает брюки, как будто они вот-вот упадут. Из кармана пальто торчат ручки, карандаши, свернутая тетрадь для зарисовок. Он преклоняется перед господином Леви и выражает это преклонение, возводя того в степень «доктора», хотя самому господину Леви это и неприятно.

– Доктор Леви, не сердитесь на меня. Прошу вас минуту постоять. Только занесу в свой блокнот очерк вашего лица.

– Но, молодой человек, – сердится тот, – это что же, я стану моделью для вашего карандаша здесь, среди уважаемых гостей?

– Почему нет, доктор? Почему нет? – Шпац подтягивает брюки. – Разве мое искусство ниже искусства этого, – он презрительно указывает на фотографа, вертящегося между гостями и по указанию деда снимающего того или другого гостя под тем или иным деревом.

– Доктор Леви, – блокнот и карандаш уже извлечен им из кармана, – не принимаю я это искусство фотографирования. В нем много легкомыслия. Просто внешние очертания ничего не значат. Рисунок, сделанный вдохновением, идущим из глубины души, – вот что важно.

– Из глубины души, – вздыхает Леви, – да, да, из глубины души, – копирует он голос и ударение гостя из Нюрнберга.

– Пожалуйста, доктор Леви, не насмехайтесь надо мной, – Шпац взволнован, снова подтягивает брюки. Всю неделю он шатался по городу, зарисовывая в свой блокнот ораторов на предвыборных собраниях, и уже запечатлены на страницах его блокнота физиономии Гитлера, Тельмана, Гинденбурга. Теперь к ним присоединяется облик господина Леви.

Бумба весь внимание! Художник из Нюрнберга! Шпац из Нюрнберга! И вдруг кто-то тянет его за волосы. Кто это, черт возьми?

В саду – саду весеннем,  
Меж розой и сиренью  
Мы снимемся на пару  
Влюбленной парой!..

Напевает ему один из парней со светлой копной волос, который в этот миг, не сходя с места, сымпровизировал куплет. Это его профессия – сочинять куплеты, и он в ней весьма преуспевает. В последнем сезоне он заработал уйму денег, сочинив песенку, ставшую невероятно популярной – «Донна Клара дорогая, почти нагая». В честь такого успеха парень прикрепил к своему галстуку золотую булавку, усыпанную бриллиантами. Успешный куплетист внешне весьма симпатичен и даже удостоен клички «Аполлон». Узкий пробор рассекает его темные волосы.

– Мальчик, – говорит куплетист с таким особым пробормом, – храни эту открытку с моей фотографией, которую я дарю тебе в день твоего рождения.

– Почему? Ведь такую открытку можно купить в любом киоске!

– Но, мальчик, это открытка с моим автографом! Через поколение или несколько поколений ценность ее будет огромной, и она принесет массу денег твоим внукам и правнукам.

– А-ха! – вперяет Бумба в «Аполлона» восхищенный взгляд.

Мы снимемся на пару  
Влюбленной парой!..

Поет куплетист и тянет Бумбу под высокое дерево – сфотографироваться. И тут же рядом с ними оказывается Марго.

Красавица Марго – певица в известном кабаре. Между ее пунцовыми губами вечно торчит сигарета. Одета она всегда в шелковые платья – черные, блестящие, облегающие тонкое и длинное тело. Она кумир кудрявых девиц – дочерей дома Леви, которые подражают ей во всем, и лица их, юные и свежие, покрыты теми же цветами косметики, как и лицо Марго. На сцене кабаре она поет куплеты, написанные «Аполлоном» специально для нее.

– Готовы? – спрашивает фотограф, и куплетист «Аполлон», и певица кабаре Марго, и Бумба между ними улыбаются широкими улыбками истинного счастья.

Меж тем вся компания добирается до небольшой «беседки любви», беседки Артура Леви и его покойной жены. Скрытая в зарослях, между деревьями, стоит беседка, как бы замкнутая голыми темными ветвями ползучей розы, на которых блики солнца. Воробьи, вереща, летают над беседкой. Леви склоняет голову, словно бы прислушиваясь к повествованию, полному тайных событий, затем входит в беседку. Все шествие добралось до цели путешествия, и все рассеялись и расселись между деревьями на скамьях, а фотограф

продолжает свою работу.

– Желаете ли вы со мной сфотографироваться? – спрашивает Филипп Кристину.

– Почему бы нет? – соглашается девушка.

– Домочадцы называют эту беседку «беседкой любви», – говорит Филипп.

– Очень красиво, – запросто отвечает девушка.

Филипп чувствует взгляд Гейнца, обращенный на них, и в нем просыпается защитное чувство. Взгляд Гейнца острый, самоуверенный. Что ему надо от смуглой девушки? – Филипп уже готов ее защищать. Гейнец не отводит взгляд. Гейнец взвешивает в уме: мне следует обратиться к Филиппу и поговорить о Габриеле Штерне. «Сколько времени эта девица будет ходить с ним?» – бормочет Гейнец про себя, продолжая следить за парой.

– Сфотографируемся всей семьей! – предлагает дед.

Тем временем пришла Фрида с сестрами Румпель и всеми служанками. Лишь старого садовника не нашли, хотя обыскали весь дом.

– Вся семья в сборе! – провозглашает дед.

– Пойдем, – тянет Эдит своего жениха за руку, – сфотографируемся со всей семьей.

– Нет, – решительным тоном говорит Эмиль, – я не люблю семейных фотографий.

– Но я прошу тебя, идем.

– А я прошу тебя, отстань.

– Почему?

– Я же сказал тебе – не люблю такие снимки и все тут.

– Не любишь? – презрительное выражение вспыхивает в глазах Эдит. – Быть может, причина не в этом?

– А в чем? – вспыхивает Эмиль Рифке. – В чем причина? Неважно, в чем причина. Я не хочу фотографироваться с твоей семьей, и все. Хватит. – Эмиль поворачивается спиной к Эдит и оказывается лицом к лицу с доктором Гейзе, невольным и нежеланным свидетелем ссоры. Несколько минут длится между ними молчаливая дуэль глазами. Глаза атакуют Эмиля и спереди и сзади: глаза доктора Гейзе – спереди, глаза Эдит – сзади. Он краснеет. И голос Эдит едва слышен, словно бы она читает сводку погоды:

– О, я знаю: ты не хочешь фотографироваться с евреями. В этом причина...

– Ага, – повышает голос Эмиль, чтобы вовсе заглушить слова Эдит, – доктор Гейзе, а вы хотите присоединиться к семейному снимку?

– Я? Я лишь друг семьи. Но вы? Вы же в будущем должны стать членом семьи.

Некая угроза слышится Эмилю в голосе доктора Гейзе.

– Торопитесь, вас там ждут, – указывает доктор на беседку.

– Внимание! – командует фотограф.

Эмиль отступает назад и опускает голову. И только доктор Гейзе это замечает.

Дед приказывает фотографу идти за гостями и ловить каждого в объектив, пока каждый гость не будет сфотографирован. Фотограф скрупулезно выполняет указание деда и охотится за физиономиями гостей, разбредшихся по саду.

Весело проходит день рождения Бумбы. Только Гейнц один бродит среди гостей с выражением скорби на лице и не перестает следить за Филиппом, большим знатоком растительного мира, который объясняет смуглой девушке, какие деревья и кусты окружают их, и девушка вся внимание. Они только присели на скамью, глядя на одно из высоких деревьев, как Гейнц уже сзади них, делает вид, что не видит их, проскальзывает мимо, и тут же возвращается с другой стороны. Что хочет этот зазнайка? Что это он непрерывно следит за ними? Филипп готов прикрыть ладонями ее плечи и защитить ее от тени этого преследователя.

– А, дорогой мой внук! – Гейнц неожиданно попадает в объятия деда. – Как твои дела?

– Почему ты сегодня не фотографируешься, дед? – спрашивает Гейнц и посмеивается.

– Что значит – не фотографируюсь? Только этим и занимаюсь. И с Марго, и с твоим отцом, и с Фридой, и со всеми домочадцами, и с незнакомыми гостями!

– А вот с этой девушкой, – смеется Гейнц, – ты тоже сфотографировался? Она самая юная среди девиц, дед. Ей очень понравится сняться со старейшиной сегодняшнего праздника.

– Отличная идея, – воодушевляется дед, – с самой юной среди девиц, прекрасная идея! – и вот уже Кристина висит на руке старейшины, тянущего ее к фотоаппарату, и место на скамье около Филиппа освобождается.

– Сейчас твоя глупая игра закончится! – краснеет Филипп и повышает голос на Гейнца, который собирается сесть с ним рядом.

– Что случилось? Чего ты орешь? – изумлен Гейнц. – Запрещено сесть рядом с тобой?

– Не хитри, Гейнц! Что ты здесь шатаешься между деревьями, крутишься вокруг девушки, как дешевый юбочник?

Только теперь становится ясно Гейнцу, в чем его подозревает Филипп, и он раздражается хохотом.

– Ты что, сошел с ума, Филипп? Просто мне надо с тобой выяснить некое дело.

– Какое дело? – все еще подозрительно спрашивает Филипп.

– Выяснить о Габриеле Штерне. «Вечный банкрот» говорит, что ты Габриеля хорошо знаешь.

– Конечно, знаю. Он мой друг, даже лучший друг. Но что тебе нужно от Габриеля?

– Вопросы бизнеса. Мне надо с ним поговорить. Можешь устроить нам встречу?

– Тебе не нужно мое посредничество. Габриель Штерн знает твою семью. Кроме того, ни один человек в этом не нуждается, чтобы встретиться с Габриелем. Он открыт всем

и каждому.

Весело смеясь, возвращается Кристина. Цветок с обшлага дедовского пиджака воткнул ей в волосы. Гейнц встает и тут же исчезает.

Атмосфера веселья среди деревьев в самом разгаре. Кудрявые девицы принесли небольшой патефон. Пары танцуют на полянке перед беседкой. И более всех веселится Инга. Блондин, на руке которого она виснет, вежливый парень, одетый с иголки, по имени Фредди. Отец его весьма богат, владеет универмагом в центре Берлина. Сын же – коммунист, литературный редактор коммунистического журнала. Выражение лица его агрессивно, как у человека, собирающегося взять власть. В эти дни он носится на своем небольшом изящном автомобиле на сумасшедшей скорости, видя в нарушении правил безопасности движения важное революционное действие. Но причем тут Инга? Вот уже несколько недель она его верная подруга и соратница в этих сумасшедших гонках. И так, от поездки к поездке, от безумия к безумию, она прониклась его революционными идеями и открыла для себя все истоки политики. Сегодня на ее груди золотится большой паук с черными жемчужинами вместо глаз, который был подарен ей Фредди в день рождения Бумбы.

Эдит единственная, кто не участвует в общем веселье. Одинокó сидит на скамье и гладит шерстку пса Эсперанто. Недалеко от нее доктор Гейзе погружен в беседу с ее отцом, но глаза его прикованы к ней.

– Кажется, я один скрываюсь от ока фотографа, – слышит она голос пастора Фридриха Лихта, прогуливающегося с Гейнцем. Лицо пастора в шрамах и полно темных пятен. Это следы кожной болезни, подхваченной им в Китае, куда он был послан церковью, как молодой миссионер. Его карие, умные глаза следят за Гейнцем, отряхивающим сигарету и отвечающим ему не словами, а громким смехом.

«Запутанная душа, – думает пастор Фридрих Лихт, – всяма запутанная душа».

«Было бы у меня такое лицо, – в свою очередь думает Гейнец, – я бы тоже избегал объектива фотографа. Но, верно, есть объективы, фотографирующие душу, и моя вся в шрамах, даже более, чем его лицо».

И с неожиданной приязнью смотрит Гейнец на пастора, возвращая ему дружеский взгляд.

– Господа! Возвращаемся в дом, пора обедать, – гремит дед.

– Отец, – Эдит берет отца под руку, – пожалуйста, подожди. Пойдем вместе. Прикажи фотографу остаться. Я хочу сфотографироваться с тобой вдвоем, без гостей.

– Почему, детка? Я уже сыт по горло фотографированием.

– Пожалуйста, отец, мне это важно.

Фотограф окончил свое дело и может уходить. Первые вечерние тени сошли на сад. Отец снимает с себя пальто и прикрывает им плечи дочери.

– Оставь. Что ты делаешь, отец? – возражает дочь.

– Ты несчастлива, дочь, – вглядывается в нее отец.

– Ты это чувствовал, папа?

– Я это знаю, детка моя, – он гладит ее волосы, – знаю давно и всегда жду, когда ты обратишься ко мне за помощью.

– Придет день, отец, придет день.

\* \* \*

Войдя в свой дом, Иоанна никого не увидела. В это время вся компания фотографировалась в саду. Входная дверь была заперта, и никто не откликнулся на звонки. Только дверь в кухню была открыта, и она вошла туда. За весь день у нее и крошки во рту не было, лицо ее осунулось, веки воспалились, волосы не расчесаны. Брызги из луж оставили грязные пятна на ее синей юбке. Дом пуст и полон запахов свежеспеченных сладостей. Иоанна поднимается на этаж выше.

«Я несчастен, госпожа!» – орет попугай деда над открытой дверью в столовую, и лоб Иоанны покрывается холодным потом.

На ступеньках одолевает ее мания преследования, и она бежит на чердак, где собраны ненужные вещи. Шкафы и полки вдоль стен, и острый запах нафталина. Один из ящиков Иоанна избрала своим тайником. В нем она хранит свои драгоценности: например, «Кровь Маккавеев» из леса в стране Израиля, которую отрезал от дерева своими руками посланец Движения, дневник, хранящий все ее секреты. В него

она записывает все события с момента вступления в Движение. На первой странице дневника – десять заповедей движения. Записаны в дневнике все ее обязанности. Обязанность быть халуцем – пионером, обязанность любить родной язык и свой народ, любить труд, бороться за справедливость и прямоту в человеческом обществе, быть поддержкой и помощью ближнему, быть дисциплинированной, обладать сильной волей и всегда говорить правду. Обязана... Обязана – быть и быть. Сколькими качествами ей надо обладать?! Нет, никогда она не будет такой. Она большая грешница и такой будет всегда. Не может она соответствовать десяти заповедям. И никакие усилия не помогут. Всегда и все у нее выходит наоборот. Комод стоит под окном, а из окна виден сад. Иоанна взбирается на комод и смотрит в сад.

Подобно длинным шеям, вытягиваются тени в чердачном помещении, и медленно проглатывают шкафы и комоды, старую восковую куклу бабки, колыбель с искусной гравировкой по дереву, в которой провели начальные дни своей жизни отец и дядя Альфред. Пыльный столб встает над грудой одеял в углу, и кажется паром, исходящим из тех теней. Иоанна ощущает себя несчастной. Она любит эту свою неприкаянность, и хорошо ей пребывать немного в печали. В таком состоянии прорастают крылья, ширится воображение. Тяжело у нее на сердце, сегодня особенно тяжело. Листает она свой дневник и заново переживает, пока доходит до последних страниц. Тут она начертала четкими большими

ми буквами с толстым восклицательным знаком в конце:

– Самокритика!!!

А под этим заголовком – маленькими буквами, плотно стоящими друг к другу, перечислила все свои грехи. Теперь ей следует добавить еще один грех, сегодняшнее преступление: любовь к графу-скульптору, которая вдруг вспыхнула в ее грешном сердце.

– Нет, – в сердцах захлопывает Иоанна дневник, – ничего писать не буду.

Из сада доносятся голоса. Праздничная компания возвращается в дом. Фрида торопится во главе служанок, за ней Бумба ведет гостей на праздничный обед. Завершают шествие, несколько отстав от всех, отец под руку с Эдит. Что делать... щемит сердце Иоанны. Спуститься в свою комнату, помыть лицо, сменить одежду и сесть со всеми за стол? Конечно, расскажет отцу, что не пошла в поход, а пришла на помощь умирающей принцессе. Он ей все простит. Но тогда... ей надо будет все рассказать. О странноприимном доме и о графе. Нет! Даже если ей отрежут язык, она не заикнется о графе. Теперь Иоанна слышит гостей, шумно занимающих места в трапезной. Затем воцаряется тишина. Все, вероятно, расселись, и дед произносит первый тост, поздравляя Бумбу. Голова Иоанны опущена на грудь. Голод и усталость терзают ее. Что делать? Снова она раскрывает дневник. Чистая страница под заголовком «Самокритика». И рука ее пишет слово: тайна!

Праздник внизу продолжается. Еще немного, и придут одноклассники Бумбы, дом наполнится шумом, и никто даже представить не сможет, что Иоанна одиноко сидит на чердаке и записывает в дневнике, раскрытом на ее коленях, свои пригрешения.

– Нельзя! Я запрещаю себе так думать, – бормочет Иоанна, слезает с комода и прячет дневник в глубине ящика на полке. Она ужасно устала, глаза ее горят. Она движется, словно тянет свое тело, к груде одеял, мерцающих в сумерках. Запах плесени и пыли идет от этой груды. Она снимает ботинки, сворачивается клубком в одном из бабкиных покрывал и засыпает в мгновение ока.

## Глава третья

Март это месяц, которому нельзя верить. Уже прячут зимнюю одежду в шкафы, и запах нафталина заполняет дома. Но по ночам еще крепки заморозки, по утрам идут дожди, а в полдень – нещедрое солнце.

Зима ослабела, но весна еще играет в жмурки, тайно скрываясь в наслоениях облаков, гуляя по городу, выцветшему плакатами предвыборной гонки. Лозунги кричат со стен домов, топот демонстрантов по шоссе, рев рупоров.

Выбирают президента страны!

Даже тихая улочка, на которой расположена школа Иоанны, пробудилась от дремоты. Скромные дома оделись в полосатые одеяния лозунгов, раскрывших свои беззвучные пасти. И стена школы тоже сотрясает улицу крикливыми надписями. День за днем доктор Гейзе приказывает привратнику Шульце соскабливать эти надписи и закрашивать их известкой. Шульце посылает взвод уборщиц с ведрами известки в руках – но весь этот труд идет насмарку. На следующий день появляются новые надписи. В результате неутомимый доктор Гейзе, побежденный в этой борьбе, стоит у окна и смотрит на густую бороду дуба, который единственно на всю улицу сохранил свою чистоту.

У стены школы Саул ожидает Иоанну. Названивает в звонок велосипеда и вглядывается в зашторенные окна школы.

Саул плюет на стену, залепленную плакатами партии Гитлера. В последний год Саул значительно вытянулся ростом. Он уже готовится к празднованию своего совершеннолетия – бар-мицве. Над верхней его губой появился темный пушок, и в голосе появились петушинные нотки. Все говорят, что зрелость пришла к нему раньше положенного времени. Но Саул гордится этим, и особенно тем, что, как говорят люди, он становится все более похожим на своего дядю – Филиппа. Очки у него, как у дяди, и на лице такое же озабоченное выражение.

Долго еще будет шататься Саул по улицам, пока сможет увидеть Иоанну. Но он не скучает и вовсе не считает, что теряет время. На скамьях в парках, на ящиках на углах улиц ораторы толкают речи, и массы людей шумят на площадях.

Саул возвращается к школе. В этот момент раздается сверлящий электрический звонок. Занятия закончились. Саул вскакивает на велосипед и заезжает за угол дома. Скрытый арочный тупичок служит им постоянным местом встреч. И каждый полдень, выходя из школы, она заглядывает сюда, не пришел ли Саул. И не то, чтобы они договаривались заранее, но она чувствует, что он здесь.

– Саул, крепись и мужайся! – поднимает руку в приветствии Движения Иоанна.

– Крепись и мужайся, Хана! – вытягивается по стойке смирно Саул и приветствует ее тем же жестом. – Почему ты вчера не была в походе? – строго спрашивает Саул.

- Была причина, – отвечает Иоанна тихим голосом.
- Какая причина?
- Я расскажу тебе в парке.
- Сегодня мы не едем в парк. Быстро садись на раму.
- А куда мы сегодня едем?
- Не спрашивай сейчас. Садись на велосипед.
- Почему ты сегодня какой-то странный, Саул?
- Есть причина. Ну, садись уже.

Саул подсаживает Иоанну. Велосипед катится по шоссе, выделывая трюки между несущимися по обе стороны автомобилями. Тысячи и тысячи голосов со всех сторон, треск моторов, гудки, а поверх всего этого цветные лозунги, мигание светофоров. Они выезжают из района, где живет Иоанна, и въезжают в самый центр города. И чем больше углубляются в город, тем более шумными и забитыми людом, лихорадочным движением становятся улицы.

– Куда мы едем?

– Не спрашивай сейчас. Лучше следи за полицейскими, – сердится Саул. За поездку на велосипеде вдвоем наказывают, и полицейские выслеживают нарушителей на каждом углу.

– Нам надо торопиться! – говорит своим тонким голосом Саул, надсадно дыша в затылок Иоанне. Она резко поворачивает голову, велосипед теряет устойчивость и чуть не врежется в проносющийся вплотную грузовик. Водитель высовывается из окна кабины.

– Черт вас побери, шушера! Нет у вас другого места заниматься любовью?

– Куда ты мчишься, Саул?

– Полицейский!

Иоанна спрыгивает с рамы, Саул уносится. Иоанна бежит вслед, ищет его. С угла улицы приближается к ней толпа, внимающая оратору который соорудил трибуну из подвернувшихся пустых ящиков, звучит знакомый членам Движения мотив. Саул берет Иоанну за руку и наконец-то шепотом сообщает ей свой секрет:

– Вчера, во время беседы в нашем подразделении, Белла сказала нам важную вещь...

На трибуне, с горы ящиков, оратор орет и размахивает газетой с прогнозом предсказателя Ханусена:

– Великий предсказатель Ханусен предвидит убедительную победу Гитлера!

– Уши вянут, – Иоанна тянет Саула в сторону от толпы.

– Минуточку, – сердится Саул, – слушай, что эта тварь сочиняет.

– Что?

– Минуту... А-а, нечего его слушать. Слушай, Хана. Вчера, во время беседы, – Саул снимает очки и протирает стекла рукавом рубахи. Это тоже из привычек дяди Филиппа, – вчера Белла нам рассказала вот что: собираются организовать репатриацию молодежи от четырнадцати до шестнадцати лет в страну Израиля.

– И девушек тоже?

– Ну, конечно, и девушек. Одна дама это организует. Я ее знаю...

– Ты ее знаешь? – спрашивает Иоанна.

– Да, знаю. Я встретил ее у дяди Филиппа. Они сидели у пишущей машинки и что-то писали вдвоем. И дядя сказал ей: теперь, госпожа, мы подпишем этот призыв. А она ответила очень странно: доктор, это излишне. Я ведь из мира листовок, там все анонимно. Этого я прошу и в тексте. Это молодежь просит помощи, а не я. Когда она ушла, дядя сказал мне, что эта дама из тех мечтательниц, которая умеет превратить мечты в реальность.

– Ах... – Иоанна уже думает о женщине-мечтательнице.

– Хана, ты не слышишь? Дважды я сказал тебе! Пойдем туда, на параллельную улицу. Там нет полицейских – ты что, спишь на ходу? – сердится Саул. – Беги, Хана, беги! – Саул уезжает, Иоанна бежит за ним, косички прыгают на ее спине, и мечты ее с ней.

– Садись на раму, – Саул облегченно вздыхает на тихой улице.

– Теперь куда мы едем?

– К этой даме. Я должен с ней поговорить. Я должен все узнать из первых уст.

Иоанна вскакивает на велосипед, не ощущая давления рамы.

Они останавливаются у большого серого здания на маленькой тихой улочке в центре Берлина. У входа в дом небольшой магазин, в окне которого – улыбающиеся восковые головы, на которых – роскошные шляпы. На доме вывеска с надписью – «Боника» и огромной картонной бутылью, указывающей на то, что Боника продает горячие напитки.

– Приехали.

Они входят в темный вход, Саул передает Иоанне велосипед:

– Жди здесь, а я поднимусь.

– Что? – обиженно говорит Иоанна. – И я хочу задать ей вопросы.

– Ты? Почему? Нельзя оставлять велосипед без охраны.

Голос Саула настолько агрессивен, что Иоанна сдается. Она грустно смотрит, как он быстрыми шагами поднимается по ступенькам. Она не увидит женщину-мечтательницу.

– Привет, Хана, – Саул почти сразу же возвращается.

– Что случилось?

– Ее нет дома. Придется подождать во дворе.

Маленький темный квадрат, вымощенный каменными плитками, отделяет дом от такого же большого серого дома, стоящего за ним. Саул и Иоанна сидят на ступеньках, ведущих к запертым дверям склада. Из магазина шляп доносится

стрекотание швейной машинки.

– Мне через год уже исполнится четырнадцать.

– А мне – через два года, – опечаленно говорит Иоанна.

– Тебя и так не возьмут в отряд, который готовится к репатриации.

– Почему меня не возьмут?

– Белла вчера сказала, что поедут лишь избранные из подразделения, лучшие из членов Движения.

– Откуда ты знаешь?

– Тебя сильно критикуют в подразделении.

– Что обо мне говорят? – вскакивает Иоанна. – Говори правду.

– Ну... ты такая... недружественная, странная, просто не такая, как все.

– Ну и что? – говорит в отчаянии Иоанна. – Что я могу сделать?

– Что ты можешь сделать? Ты думаешь и делаешь всегда такое, что никто из нас не делает и даже не думает делать. А этого не терпят.

– Что например? – сердится Иоанна. – Скажи, что я сделала?

– Ну, например, то, что связано с синагогой. Теперь ты понимаешь?

Иоанна снова садится на ступени и втягивает голову в плечи. Дело это рассердило всех. Она пошла с девушками из Движения в праздник Ту-Би-Шват – поговорить с другими

девушками о вступлении в Движение. Вместо того, чтобы стоять у входа и вступать в беседу с девушками до того, что они войдут в синагогу, она вошла внутрь, слушала песнопения и даже нашла, что они красивы.

– Саул, это неправда. Все это неправда. Ты меня знаешь.

– Всегда верно лишь то, что говорят все.

– Не всегда. Мой брат говорит, что есть люди, отличающиеся от всех остальных, и ничуть не хуже других.

– Всегда ты ссылаешься то на брата, то на отца. Это вовсе не важно, они люди из другого мира.

– И потому, что я такая, мне не дадут уехать в страну Израиля? – прерывается голос Иоанны.

– Ну, да. Именно, потому, что ты такая, тебе и не разрешат, – усугубил свои слова Саул. Но, увидев, как ссутулились ее плечи, смягчился. – Слушай, Иоанна. Ты можешь быть другой. Ты просто должна быть такой, как все. Например, тебе надо срезать косы. Ты выглядишь, ну, такой... не принадлежащей Движению.

– Нет, я не могу их срезать. Из-за матери. Она любила их и гордилась ими. Отец просил меня, в память о ней, никогда их не срезать.

– Опять твоя семья, – впадает Саул в полное отчаяние.

Из дома выходит служанка, направляясь к мусорным бакам. Саул вскакивает с места.

– Жди ее, юноша, жди, – смеется служанка, – ты сможешь пустить здесь свои корни, пока она придет.

– Ну, вы же сказали, что ее нет. А раз нет, то она должна вернуться.

– Вернется, вернется. Каждый день ее здесь ожидают такие, как ты, а она уехала в Лондон. Но, конечно, вернется, – смеется служанка.

– Мы можем уйти, – печально говорит Саул, но Иоанна не сдвигается с места. Ее отчаянное лицо не дает покоя Саулу. Он садится рядом с ней и кладет руку на ее плечо:

– Хана! – Но Иоанна молчит.

– Слушай, Хана, я тебе еще не все рассказал. Так или иначе, тебя бы не выбрали.

– Почему? – поворачивает к нему голову Иоанна.

– Белла сказала, что поедет тот, кому нечего делать в Германии. Нет денег на учебу, нет работы... Репатрируют молодежь в страну Израиля, чтобы спасти их от безработицы. Ну, а тебе ничего из этого не грозит.

– Ну и что? Не возьмут меня туда потому, что мой отец богат?

– Не теперь. У тебя еще есть время. Белла сказала, что все, кто сможет закончить учебу в Германии, должен это сделать. Движение даже потребует от них этого.

И услышав вздох Иоанны, решил сжалиться над ней:

– Что я буду делать, к примеру, через год? Мать хочет, чтобы я стал портным и учился шитью у Шапского. Тебе знаком Шапский? С Еврейской улицы. Там я буду сидеть в маленькой комнатке, вдвевать нитки в иголки и слушать каждый

день его крикливую жену, которую я ненавижу.

– Не делай этого, Саул. Не будь портным у Шапского.

– Не быть портным? Тебе легко говорить! – присвистывает Саул. – Дядя Филипп обещал мне найти работу на еврейском кладбище помощником садовника. Это хорошая подготовка к работе в стране Израиля.

– Что? – вскрикивает Иоанна. – Будешь крутиться между могилами по ночам?

– По каким ночам? Вечно у тебя какие-то выдумки. Я буду сажать цветы... Но, в общем-то, не хочу я этим заниматься. Дядя Филипп предложил мне продолжать учебу за его счет.

– Это же прекрасно, – осветилось радостью лицо Иоанны.

– Нет, Хана. Ты ничего не понимаешь. Я же не смогу быть рядом с отцом. А он старый и больной, каждую ночь стонет, а днем стонет мама... И к тому же не хочу я учиться. Я хочу быть рабочим. Поеду в кибуц, начну зарабатывать и привезу туда мать и отца.

Иоанна смотрит на Саула в полнейшем изумлении. Странное чувство нежности и милосердия возникает в его сердце к несчастной неудачнице Иоанне, которую так критикуют в подразделении, и он сжимает ей плечи.

– Саул, – неожиданно краснеет Иоанна, снимает его руку с плеча и повышает голос, – почему ты всегда кладешь руку мне на плечо, когда сидишь со мною рядом?

Теперь голос повышает Саул:

– Что вдруг ты это говоришь?

– Не знаю, но мне это кажется странным, – и настоящие слезы выступают у нее на глазах. Всегда Саул обнимает ее за плечи, и никогда она не отдавала себе в этом отчета, даже не думала об этом. И вдруг... Длинные пальцы графа. Белая его рука. О, это тайна! Страшная тайна! Один день, всего один день, и мир до такой степени иной, и все абсолютно не то, что было. Саул с удивлением смотрит на плачущую Иоанну. Трудно вообще понять эти ее превращения. Глаза ее блуждают от окна к окну, по высоким зданиям города. Вовсе ее не трогает, что дома над ней смеются, что в подразделении ее критикуют, зато в душе у нее большая и запретная тайна. Она сама пойдет к женщине-мечтательнице. Без Саула.

– Не будь всегда такой странной, Хана. Если ты не хочешь, чтобы я тебя обнимал, так я не буду этого делать.

– Я! – кричит Иоанна. – Я! – и убегает.

Она бежит по улицам Берлина, как вчера бежала по комнатам дома. Школьный ранец остался на ступеньках, рядом с удивленным Саулом.

\* \* \*

Тихая улочка выводит на широкую шумную улицу, выходящую на Александерплац, которая полна народа днем и ночью. Вправо и влево от площади разбегаются узкие переулки, как темные руки, благодаря которым светлая эта площадь держится в теле города. Здания прижаты одно к другому, и

каждый переулочек подобен прорубленной тропе между темными и прямыми стенами. Узкие окна прорезают эти стены, не в силах обозревать пространство, и потому лишь обречены – вглядываться внутрь, во внутреннюю жизнь комнат.

Иоанна стоит на углу, у выхода из переулочка, между шумом площади и безмолвием домов. Смотрит она вверх, не желая вглядываться в угол напротив. Там – «Трактир тети Иды», над которым развевается красный флаг со свастикой и большой плакат во всю ширину окна.

«Выборы президента решат судьбу ваших детей». Рядом с надписью изображены дети разных возрастов, руки их протянуты к прохожим. Дети просят голосовать за Гитлера. Люди в форме штурмовиков стоят по стойке смирно, как солдаты. Иоанна застряла здесь из-за светофора, запрещающего ей перейти улицу – к большому универмагу и железнодорожному вокзалу надземного поезда, который привезет ее домой. Но так как она остановилась, нет у нее сил – продолжать путь, после того, как светофор поменял цвет. Размышления и горечь на душе не дают ей сдвинуться с места.

«Что теперь подумает Саул? Даже смотреть на нее не будет и говорить с ней не будет. И если в подразделении узнают, что дружба их кончилась, тогда кончится все. Саула все принимают. А ее все критикуют. Что-то с ней не в порядке, и никто не хочет ей сказать, что именно».

Иоанна оглядывает свою одежду, запыленную обувь с незавязанными шнурками, вечно спущенные чулки и вспо-

минает отца, который по этому поводу делал ей замечания. Вчера, когда она проснулась на груди бабушкиных одеял, в доме стояла тишина, и она не почувствовала, что множество небольших перьев набилось в ее волосы и в одежду.

На ступеньках стояли сестры Румпель, высокие, белобрысые, и торжественно возвестили:

– На площади есть покойник. – И скрестили белые руки на своих передниках, после того, как перекрестили лица, подобно сообщникам Ангела смерти.

Так Иоанна узнала, о смерти принцессы. Она хотела сразу ринуться туда, чтобы выразить соболезнование графу. Но тут перед ней возникла Фрида.

– Привет, – воскликнула Фрида, и рот ее от изумления открылся и закрылся при виде девочки, обсыпанной перьями. В какой постели она обреталась?

На ее крик вышел из своей комнаты господин Леви, спустился по ступенькам и предстал перед своей дочерью, усеянной мелкими перьями. Он слова не сказал, лишь наклонил голову с выражением той особенной печали, которая горька была Иоанне похлеще любых слов. Хорошо, что рядом с ней стояла Фрида и спасла ее от глаз отца. Она силой схватила Иоанну за руку и потащила за собой. Голод изводил Иоанну, голова болела, и ей уже было все равно, что с ней сделает Фрида. А та повела ее к себе в комнату, посадила на кресло-качалку, подложила маленькую подушечку под ее голову. Окунула полотенце в холодную воду, смыла грязь с ее лица,

ушла и вернулась с подносом, на котором – еда.

– Ешь, – строго приказала она, – ешь! – И доброе ее лицо наклонилось над Иоанной. – Погляди на себя, у тебя лицо покойника.

Фрида порезала мясо на маленькие кусочки, как тогда, когда Иоанна была маленькой, и медленно кормила девочку, отправляя ей в рот кусочек за кусочком. Этот – за деда, этот – за отца. И так за всю семью. Пока на тарелке не оставался один последний кусочек, и ребенок ни за что не хотел его взять в рот, и не помогало, что Фрида обижалась, ибо считала, что именно этот последний кусочек важнее всего для здоровья девочки. Может быть, Фрида не очень бы сердилась, если б знала, что этот кусочек Иоанна оставляла для матери. Мать умерла в тот год.

Глядела Иоанна в доброе лицо, склонившееся над ней, и сказала придушенным голосом:

– Я чувствую что-то в голове, Фрида.

– Ты чувствуешь в твоей голове собственные сумасшествия. Ешь, и все пройдет.

И все бы вчера завершилось хорошо, если бы Иоанна не задала Фриде один из своих вопросов, из-за которых всегда все портилось и осложнялось.

– Фрида, – спросила Иоанна с безмятежным видом, – что это – кокс?

– Это такой сорт угля.

– Нет, Фрида, это еще что-то. Ты знаешь, Фрида.

– Ты снова начинаешь. Кокс это кокс и все тут.  
– Но почему ты не хочешь мне сказать, Фрида?  
– Что тебе не дает покоя? – рассердилась Фрида, и потащила ее в ванную.

\* \* \*

Светофор приглашает Иоанну пересечь улицу. Она идет в толпе, и одна единственная мысль изводит ее:

«Что-то со мной не в порядке. Что-то всегда портит все. Что это?»

«Граф! Граф! Граф! – отвечают ей клаксоны и людские голоса на площади, полной народа.

И снова она застывает, не в силах сдвинуться с места. Граф и есть ее самый главный грех! Граф – христианин, не пролетарий, он принадлежит к обществу, которое все клеймят. Она не в силах выбросить из грешной своей головы этого графа.

Глаза ее остановились на роскошной парикмахерской. Молнией проносится мысль в ее голове: чья-то направляющая рука остановила ее именно здесь. Ей надо срезать косы! Саул сказал, что это очень важно. Саул помирится с ней, если она появится перед ним без косичек. И, быть может, после того, как она обрежет косы, вместе с ними исчезнет ощущение греха и вчерашнего прикосновения направляющей руки, которую она все еще чувствует. Сердце Иоанны полно на-

дежд. Если она срежет косы, все будет в порядке. Это будет другая Иоанна, более подвижная и хорошая. Но отец? Отец, и Фрида, и дед, и все члены семьи ужасно рассердятся на нее. Только вчера у нее уже был с ними спор, и она все еще не помирилась с отцом, и вот она уже затевает новое. Отец ей это никогда не простит. Она бежит к парикмахерской, распахивает стеклянную дверь и врывается внутрь.

– Что желаете, маленькая госпожа? – кланяется ей человек в белом халате.

– Постричься, – почти кричит Иоанна, – снять эти косы!

– Ах, – человек взволнован, – а мама согласна?

– Мама... – и снова комок в горле Иоанны. – Согласна.

Конечно, согласна. Что себе думает господин?

– Пожалуйста, маленькая госпожа, посидите, пока придет ваша очередь.

– Нет, Это надо сделать немедленно! Я... я очень тороплюсь, господин.

Все лица из-под сушильных шлемов обращены к странной девочке. Женщины в белых передниках, которые учатся парикмахерскому мастерству, перешептываются и смеются. Снова все смеются над ней! Вся парикмахерская смеется – всеми своими большими сверкающими зеркалами.

– Несколько минут, маленькая госпожа, лишь пара минут, – успокаивает ее парикмахер.

Минуты тянутся, но вот она уже сидит в высоком кресле, и парикмахер повязывает ей шею белой простыней. Не успела

она даже взглянуть в зеркало, как обе ее черные косички – в руках парикмахера, как два лошадиных хвоста.

– Мама, несомненно, их спрячет в шкаф, – смеивается парикмахер и передает косы девушке-ученице, стоящей рядом.

– Мама, – бледнеет Иоанна.

– Какую прическу желает маленькая госпожа? – парикмахер пощелкивает ножницами. – Пони? Пробор посередине, пробор сбоку?

– Мне все равно, – повышает голос Иоанна, – простая прическа, сама простая.

Снова смех в зале, все развлекаются за счет этой странной девочки. Но на этот раз ее это не трогает! Она видит только себя в зеркале. Незнакомая, чужая девочка смотрит на нее оттуда большими испуганными глазами.

Ей кажется, что она видит себя впервые в жизни, и она вглядывается в свои черты внимательным критическим взглядом. Она очень худа, кофточка не выявляет никаких женских признаков, как у ее одноклассниц. Неожиданно это ее очень задевает, хужоба причиняет сильную боль.

«Ужас! – говорит Иоанна про себя. – Я страшно уродлива!»

– Закончили, маленькая госпожа, прическа очень вам идет. Она по последней моде.

И снова все смеются – женщины под поблескивающими сушильными шлемами, девушка-ученица, подающая ей

сверток: косы, завернутые в газетный лист. Иоанна хочет спрятать их в свой ранец, и кровь застывает в ее жилах: ранца нет! Косы обжигают огнем ее руки. Что с ней сегодня происходит? Теперь ей придется, в дополнение ко всему, рассказать дома, что она потеряла ранец с книгами и тетрадями.

– Вам что-то не понравилось, маленькая госпожа?

– А-а? Нет, все в порядке, – Иоанна извлекает кошелек из кармана пальто, платит за стрижку и убегает от нового облика Иоанны в большом зеркале – Иоанны без косичек.

На остановке, около трамвая, стоит Саул, опираясь на велосипед.

– Ты... ты пришел сюда? – заговаривает Иоанна первой.

Саул не отвечает. Смотрит, смотрит, и ничего не понимает. Морщит лоб, как человек, который напрягается, чтобы понять.

– Хана, что ты сделала? Ты...

– Я? Ну, сделала, – Иоанна проводит рукой по остриженной голове.

По правде говоря, Саул вовсе не полагает, что сейчас Иоанна стала красивой. Она выглядит очень странной и очень чужой. Но сердце говорит иное, ибо следовало это сделать, и она сделала. И она в глазах его стала красивой, чем прежде, во много раз. Всеми силами души Саул отвергает мимолетное чувство недовольства, возникшее в нем при взгляде на новую Иоанну.

– Вот, видишь, Хана... И ты можешь быть, как все.

– Конечно, – с гордостью говорит Иоанна, – конечно же, я могу.

– Хана, – протягивает ей Саул ранец, – ты забыла его там, на ступеньках, – и лицо его краснеет. Не надо было ей говорить в один раз столько неприятных вещей, и он ищет примирения. – Я думал, что ранец тебе понадобится, потому и принес.

И видя, как посветлело ее лицо, продолжает:

– По дороге я подумал, что если вернется эта госпожа-мечтательница, мы пойдем к ней вместе. И, может быть, если ты ей расскажешь обо всех твоих проблемах, она согласится, чтобы и ты поехала, несмотря... – тут Саул закусывает язык, – ну, несмотря на то, что твой отец богат.

Иоанна лишь кивает головой, Саул смотрит на нее и снова краснеет. В тот миг, когда она спросила его, почему он ее обнимает, словно бы кто-то посторонний вторгся в их отношения, и все перестало быть простым и ясным, как раньше. Что-то такое, тайно связанное с тем, что глаза его видят каждый день и каждый вечер в переулке, где он живет. Это «что-то» приносит ему боль. Он старается ее преодолеть и видеть Иоанну такой же, как вчера или позавчера. Но это у него не получается. Теперь он стоит перед ней в смущении, и на лице его выражение полнейшего изумления. Иоанна чувствует, что первый раз с начала их дружбы, она побеждает. Хотя и не понимает причины этой неожиданной победы, но ищет что-то, чтобы использовать эти редкие минуты и поставить

Саула перед испытанием.

– Саул, – внезапно говорит она, – я хочу тебя о чем-то спросить. Что это такое – кокс?

– Кокс это такой уголь.

– Нет, Саул, не отвечай мне, как все, не увертывайся, скажи правду.

– А-а! – лицо Саула озаряется. – Сейчас я понимаю. Конечно, это еще что-то. Кокс это выдуманное название кокаина, чтобы не говорить о нем впрямую. Я могу тебе показать, Иоанна, ночью в нашем переулке. Стоят люди у своих домов и предлагают проходим: «Хотите купить кокс?»

– И это все, – разочарована Иоанна, – только кокаин? И это он превратил в нечто очень важное?

– Кто?

– Бартоломеус Кнастер-младший.

– Кто это?

Лицо Иоанны становится багровым. Теперь ей надо будет рассказать обо всех вчерашних приключениях. Но она... проглотит язык и не расскажет:

– Бартоломеус... Это один мальчик...

– У тебя есть секрет от меня, Хана?

Ощущения превосходства Иоанны как не бывало. Теперь она стоит в полном смущении перед своим другом, опустив голову, и, открыв ранец, вкладывает в него сверток с косами.

– Что это у тебя в свертке? – Требует ответа Саул.

– Мои косы, – и они оба разражаются смехом.

На этот раз все хорошо кончилось, и они, улыбаясь, расстаются.

Ворота дома умершей «вороньей принцессы» распахнуты. Неуловимая рука тянет Иоанну войти внутрь. Дом глубоко погружен в дремоту сада. Так же, как и раньше, криво висят на окнах неисправленные жалюзи, деревянные стены холла скрипят, и древний бог о трех головах улыбается тремя физиономиями. Из открытых дверей свет прокрадывается в темный холл и освещает мушиную грязь на гобелене, и пыль, которая сделала тусклым лицо рыцаря и лица бога. Большое зеркало в углу покрыто черной тканью. На ступеньках стоит коротышка Урсула. Увидев Иоанну, делает жест рукой, мол, все кончено, и указывает на дверь комнаты умершей.

Урсула стоит здесь, чтобы встречать множество гостей, которые, главным образом, утром приходят почтить память умершей. Как только распространился по площади слух о смерти принцессы, открылись все запертые двери. Старики и старухи открыли темные и пыльные комнаты свету. Одетые во все черное, словно всегда готовые сопровождать покойника в последний путь, вошли они в комнату с увядшими розами, где их встречал Оттокар.

Иоанне кажется, что все вороны с площади обрели облик людей и расселись здесь в креслах, смотреть на нее своими остекленевшими глазами. И прыгают их глаза по ее лицу, как прыгают лапки ворон по тропинкам, и все тени ми-

ра собрались здесь и обернулись этими черными обликами в старых, обитых тканью креслах. Безмолвно, с торчащими из подмышек белыми руками, сидят эти вороны-люди. Воздух в комнате кажется сгущенным, как студень. И вдруг возникает граф, пересекает комнату с одного угла в другой – вытянутый в струнку. Он также одет в черное, но глаза его излучают доброжелательность. Он берет Иоанну за руку и ведет в смежную комнату, к огромной роскошной кровати. Одеяло из темного бархата расстелено на кровати, и на ней – принцесса, завернутая в батистовую простыню, тонкую и чистую. Жалюзи в комнате опущены. Тонкие полосы света, прокрадывающиеся сквозь щели, образуют в сумраке над кроватью сияющую мозаику. Две длинные свечи в больших, тяжелых серебряных подсвечниках горят у изголовья усопшей. Всего несколько минут они остаются в темной комнате, и тут же Иоанна тянет графа наружу, в далеко протянувшийся коридор. Тут они одни. Граф склоняет голову над Иоанной, гладит ее по волосам... и рука его замирает.

– Иоанна, где твои косы?

Иоанна молчит. Как она объяснит графу, зачем она обрехала свои косы.

– Жаль, очень жаль – ты хотела быть красивой, Иоанна? Ты и так красива, без косичек, – он целует ее в лоб, и весь коридор начинает кружиться в ее глазах.

В этот момент Урсула кланяется двум высоким господам, которые поднялись по ступеням, и пальцы Оттокара отрыва-

ются от волос Иоанны. Он выпрямляется, и лицо его становится жестким. В коридоре слышится покашливающий голос. Высокие господа не обращают внимания на Оттокара, словно он вообще не существует, и прямо входят в комнату с увядшими розами. Урсула ступает перед ними, полная к ним почтительного страха.

Граф фон Ойленберг-старший, в сопровождении адвоката доктора Функе, пришел отдать последний долг родственнице, сестре его покойной жены.

Оттокар на миг забыл о девочке, стоящей рядом с ним. Глаза его смотрят поверх ее головы, как будто вовсе с ней не знакомы, и вдруг, не промолвив и слова, не попрощавшись, он возвращается в комнату покойницы. И покинутая Иоанна вся пылает от оскорбления.

– Детям нечего делать в доме траура, – неожиданно атакует ее голос Урсулы.

Быстрее, быстрее... Иоанна убегает, видя на бегу скачущего рыцаря, меч которого нацелен прямо ей в сердце.

\* \* \*

Сестры Румпель с вязаными сумками, на которых надпись «Приходите и уходите с миром!» выходят из кухни. Только сейчас они закончили работу в доме Леви. Праздник завершился, и они возвращаются домой.

– Иоанна! – слышится окрик Фриды.

– Говорила тебе уже много раз, что меня не зовут Иоанна, а – Хана! – кричит Иоанна удивленной Фриде.

– Гром и молния! – сверкая взглядом, выкрикивает Фрида. – Мало того, что она возвращается жаба жабой, так еще дерзит!

– Что ты так сердишься на меня! – почти плачет Иоанна, и руки ее теребят остриженную голову. – Ты не можешь понять меня, Фрида, ибо ты – христианка, и я не могу объяснить тебе, и не...

– Иисусе Христе и мать Божья, что ты говоришь, Иоанна!

– Хана, Хана, а не Иоанна!

– Закрой рот, а то я не знаю, что сделаю тебе! Вместе с косами улетучилась у тебя последняя капля разума. Кто поймет, если не я! Кто тебя вырастил? Кто? И я ничего не понимаю, потому что я христианка? Сорок лет я в этом доме. Вырастила твоего отца, твоего брата и твоих сестер, и сколько труда положила, чтобы вырастить тебя! – Тут Фрида прекращает поток своего возмущения, и лицо ее становится багровым. – Всех вас вырастила, а теперь ничего не понимаю, потому что я христианка? Никто еще в этом доме так меня не оскорблял!

– Фрида, кто тебя оскорбил в этом доме? – спрашивает вошедший в кухню дед. Он был в ванной, готовясь к обеду, и полотенце все еще висит у него на плече. Громкий голос Фриды гремел по всем углам дома. Все двери раскрываются,

и все домочадцы сбегаются, все братья и сестры, старый садовник и даже все служанки.

– Фуй, – говорит Бумба, – теперь она до того уродлива, что невозможно даже смотреть на нее.

– Сапожник ее стриг, а не парикмахер, – сердятся кудрявые девицы.

– Ты не должна была этого делать, Иоанна, – говорит Гейнц.

– Оставьте ее в покое, отстаньте, – Эдит единственная приходит ей на помощь. – Что вы на нее напали, что за беда. Волосы вырастут, не так ли, Иоанна?

– Хана, а не Иоанна, имя мое – Хана! – кричит Иоанна.

– Она просто с ума сошла! – начинает Фрида заново свои упреки. – Видите ли, я не понимаю ее, потому что я христианка. Какое оскорбление.

– Что вдруг пришло тебе в голову обижать нашу Фриду? – гремит дед.

– Я не нуждаюсь в вас! Все вы мне не нужны! – уже орет Иоанна. – Я и так оставлю скоро этот дом. Я уеду в Палестину.

– Успокойся, Иоанна, успокойся! – пытается образумить ее Гейнц.

– В Палестину уеду! – крики Иоанны усиливаются, слезы катятся из ее глаз.

– Слушай, детка моя, – сердито, но тихо говорит дед, что на него явно не похоже, – зачем тебе говорить нам эти глупо-

сти? Тебя сбили с толку. Чего тебе вдруг ехать в Австралию?

– В Палестину, я сказала, а не в Австралию.

– Палестина, Австралия, одно и то же, – дед упрямо стоит на своем, – не слышала ты, что случилось в Австралии? Страна пустынная, и никто не хотел в ней селиться. Взяли преступников, увезли туда, чтобы они поселились в этой пустыне. А ты, что ты? – повышает дед голос. – Ты преступница или дочь добропорядочной семьи? Австралия, Палестина, одно и то же. Честный человек живет в своей стране!

– Нет! Нет! – кричит Иоанна. – Нет! Нет!

Фрида разводит руками.

Теперь все поддерживают слова деда и говорят одновременно, и у каждого свои доводы. А Иоанна все кричит: «Нет!»

Неожиданно слышится сухой кашель, и все замолкают. На верхней ступени лестницы стоит отец.

– Поднимайся ко мне в комнату, Иоанна, – говорит он тихим голосом.

– Сейчас получишь, – шепчет Бумба ей на ухо.

Но лицо отца вовсе не возвещает ничего, что она «получит». Отец даже спускается к ней и берет ее за руку. Этого он давным-давно не делал. «Может быть, он знает? – вспыхивает надежда в сердце Иоанны. – Может ему стало известно, что я вчера не ходила в поход?»

Отец действительно это знает. Старый садовник рассказал ему о событиях вчерашнего дня, отзываясь с большой

похвалой о действиях Иоанны, пока его не прервал господин Леви: «Я знаю, что она хорошая девочка. И все же».

– То, что ты вчера сделала, Иоанна, – подчеркивает отец слово «вчера», – достойно похвалы. – Он хмуро смотрит на ее волосы. – То, что ты сегодня сделала...

– Вчера, отец, – отвечает Иоанна придушенным голосом, сидя в кресле напротив отца, вся еще охваченная гневом, с глазами, красными от слез, – вчера умерла «воронья принцесса», из-за этого я не пошла в поход с товарищами по Движению. Но сегодня я должна была отрезать косы. Вправду, отец, должна была!

Отец молчит, и молчание его, как всегда, тяжелей любого выговора. Голые ветви дерева стучат в окно, как пальцы отца по креслу, и только мать смотрит со стены пронизательным пристальным взглядом.

– Почему ты это сделала, Иоанна? Зачем? – спрашивает отец и вынимает из кармана записку, которую Иоанна положила вчера рядом с восковой розой для Бумбы. – Неужели твои отношения с семьей изменились до такой степени?

– Бумба – доносчик, отец, – вскакивает Иоанна, лицо ее краснеет.

– Верно, детка, это некрасиво, но не это важно в данный момент. Детка, сиди спокойно в кресле, и объясни мне необходимость того, что ты сделала.

– В моем Движении, отец, меня доводили из-за моих косичек.

– Доводили? – искренне удивляется господин Леви.

– Да папа, из-за них у меня было много неприятностей...

Но я сама виновата. Я все еще недостаточно дружелюбна, я еще не как все. Меня в подразделении сильно критикуют.

– Что это значит – «я не как все»? Какие они – «все»?

– В том-то и дело, что я сама точно не знаю, что это значит. Отец, из-за этого все мои беды, – Иоанна опускает голову. – Я разделяю убеждения моих товарищей по Движению, я верю в цели Движения, делаю то же, что все остальные, и при этом все говорят мне, что я не как все.

В голосе ее такая печаль, что отец встает с кресла, подходит к несчастной своей дочери и гладит ее по голове.

– Что тебя тянет в твое Движение? Может быть, ты им не подходишь, может, стоит отказаться от него?

– Нет, нет, отец, там все так здорово и красиво.

– Но ты же говоришь, что они тебе досаждают, Иоанна.

– Досаждают, но это неважно. Я сама во всем виновата. Движение, отец, это как дом, как теплое гнездо. И цели наши прекрасны. Они сняты мне по ночам. Ты бы должен услышать, отец, как нам рассказывают о Палестине, читают у костра легенду о бунте сына. Это так вдохновляет, отец!

– Легенда о бунте сына? Я бы действительно хотел ее услышать.

– Я могу тебе ее рассказать, отец. Я знаю ее наизусть, – и не ожидая ответа, Иоанна начинает декламировать:

«И был день, и я, сын, взбунтовался против отца и матери!

Я, сын, восстал против легенд отца и матери, против их законов. Хотел я создать собственную легенду. Эй, эй, эй, сын мой, не слушай отца о морали его, не внимай ухом законам матери, ибо мораль отца ложна, а матери – то же! Эй, эй, эй, не слушай...»

Испуганный Бумба, который все время стоял за дверью кабинета отца и, прижав ухо к отверстию замка, прислушивался к разговору, в надежде узнать точно, что «получит» Иоанна от отца, бежит к Фриде.

– Фрида, слушай! Что она там говорит? Все время кричит – эй, эй, эй! Не слушай, не слушай! А отец молчит и ничего ей не отвечает.

– Да что он ей ответит? – вскакивает Фрида. – Даже он не выдерживает сумасшествия девочки. – И она бежит к Гейнцу в комнату жаловаться.

– Скажи мне, детка моя, – склоняет голову улыбающийся отец над возбужденной дочкой, – что во мне такого плохого, что ты хочешь восстать против меня?

Иоанна мгновенно прекращает декламацию, изумленным взглядом смотрит на отца и краснеет. Что она снова сделала? Может ли она сказать отцу что-то плохое? Больному отцу, которому нельзя причинять волнение и боль? Но отец вовсе не выглядит человеком, которому причинили боль. Столько доброты и шутливости в его взгляде и на лице, склонившемся над Иоанной, которая вглядывается в него, как будто видит его в первый раз. И она впервые видит отца таким кра-

сивым, выпрямившимся во весь рост, с пониманием и любовью глядящего на нее.

– Отец, – шепчет она взволнованно, – отец, в тебе нет ничего плохого. Конечно же, нет.

– Так почему же ты призываешь к бунту против меня? И так решительно?

– А-а, это не против тебя, отец. Вправду, нет. Это против всего здесь. Против всех вместе.

– Против! – смеется отец. – В твоем возрасте надо быть против, Иоанна, это хорошо и чудесно. Но в меру. Ты же знаешь, что все должно быть в меру. Кто это сказал?

– Это один из главных принципов эллинского мира, – отвечает Иоанна.

– Именно, – радуется, как всегда, отец хорошему образованию дочери.

– Иоанна, через месяц у тебя день рождения, не так ли? Какая у тебя просьба ко мне к этому дню? Ведь тебе исполнится двенадцать лет.

– У меня большая просьба к тебе, отец. Сейчас пришла мне в голову. Прогуляйся со мной под дождем. Я всегда гуляю в одиночку под дождем, тогда приходят мне в голову столько мыслей. Под дождем я смогу объяснить тебе еще много важных вещей.

– Отличное предложение, Иоанна, – смеется в полную силу отец, – действительно прекрасное предложение. С удовольствием я выполнил бы твою просьбу. Но ты же знаешь,

Фрида не даст мне гулять под дождем. Что ты скажешь, детка моя, если предложу тебе нечто иное?

– Что, отец?

– Я намереваюсь поехать к дяде Альфреду. Может, поедешь со мной. Посетим дом, где родилась бабушка, в маленьком тихом городке. Там, детка, приятно гулять под старыми деревьями в солнечном тепле.

– Конечно, отец, конечно. Я еще не закончила дискуссию с дядей Альфредом о докторе Герцле и его теории. У нас по этому поводу разные мнения, отец...

– Хорошо, хорошо, Иоанна. А теперь иди – помой лицо и причешись. Надеюсь, что хотя бы этому тебя учат в твоём Движении, быть всегда чистой и опрятно одетой, как полагается скауту?

– Конечно, отец, мы...

– Иди, детка, иди. Скоро полдень.

Наступает вечер. Дом тих. Иоанна скользит вдоль стен в ванную и дважды поворачивает ключ в дверях. Быстро раздевается, как будто совершает что-то запретное, и нагишом крутится между тремя зеркалами. Со всех сторон смотрит на нее худенькое ее тело, с маленькими бугорками зрелости.

– Кто я? – спрашивает Иоанна свое отражение. – Я не буду красивой, как Эдит и даже как Руфь и Инга. – И ужасно огорченная, она проводит руками по узким своим бедрам. Во рту сухо до такой степени, что кажется ей, что язык прилип изнутри к щеке. Горло пылает, как будто она проглотила

огонь. Все тело ее горит, а ветер колотится в окна и усиливает в ней жжение. Что с ней случилось? Маленькое ее тело наполняется страхом от собственных поглаживаний. Лицо в зеркале искажается – Боже, до чего она уродлива!

Сильное ощущение стыда внезапно возникает при виде своего нагого тела. Она торопливо одевается и убегает от собственных изображений в зеркалах. Она бежит в сад, в благодатную ночную прохладу.

Глубока ночь, но сад не дремлет, деревья бодрствуют, и все кусты живут. Улитки выползают прогуляться. Ночные птицы перекликаются, и ветки скрипят и перешептываются на ветру. Кусты топорщат ветви в небо. Голубой шлейф прочерчивает небо за падающей звездой, и, сверкнув, исчезает.

– Кто-то сейчас умер, – шепчет Иоанна. От Фриды она слышала, что с падением звезды чья-то душа восходит на небо. Страх охватывает Иоанну в ночном, шепчущем со всех сторон саду. Полоска света просачивается из комнаты садовника. Она бежит к нему, и, колеблясь, стучит в дверь.

– Открыто! – слышен спокойный и тихий голос. – Заходи, заходи, Иоанна, – зазывает ее садовник с приветливым взглядом. Комнатка садовника полна клубами ароматного табачного дыма. Настольная лампочка роняет свет на открытую книгу.

«Призрак бродит по Европе», – читает Иоанна около садовника первую строку на открытой странице, и снова охватывает ее чувство страха, сжимаются плечи.

– Сиди там, детка, сиди, – приглашает ее садовник и хлопывает книгу.

Рядом с узкой кроватью – полка с книгами. В углу крестьянская тумбочка из темного дерева, которую садовник привез с собой из села, в котором родился. На стене большой портрет Августа Бебеля. В комнате чистота и приятная теплота. Черная кошка приходит и утыкается в руку садовнику. Садовник зовет ее Сабина.

– Вчера, – начинает Иоанна, – вчера ты был возле нее в момент кончины?

– Да, был.

– Значит, я могу себе представить, что она действительно умерла. Ведь я так привыкла видеть ее около озера кормящей ворон. Всегда говорили о ней, что она старая ведьма-колдунья. Но я ее любила. Действительно, любила.

– После кончины обнаружилось, что она была очень больна. Больна и одинока.

– Смерть – страшная вещь, – защищает Иоанна, – я боюсь даже, когда только слышу это слово. Из-за моей матери.

– Нечего тебе бояться, Иоанна, это путь всего живого, детка. Оглянись вокруг себя, трава живет лишь одно лето. Вырастает весной, умирает осенью. Деревья... жизнь у них более длинная, чем у человека, а у бабочек вся жизнь длится несколько дней. Умели бы они говорить, сказали бы: мы прожили целую жизнь. Да и эпохи, дорогая, живут и умирают. Детка, тебе нечего оплакивать принцессу, ушедшую на тот

свет. Она была последней из своей эпохи. Ушла эпоха, и она – с ней.

Садовник положил трубку на большую пепельницу. Зеленые глаза Сабины вспыхивают в сумраке комнаты. Иоанне кажется, что она хорошо понимает слова садовника.

– Сейчас, – говорит она, – граф будет жить в доме своей тети.

– Кто знает? – Садовник снова затягивается трубкой. Клубы дыма окутывают его голову. Ветер колеблет окна, и стекла в них позванивают. Кошка Сабина дремлет. Руки садовника покоятся на книге.

«Призрак бродит по Европе», – вспоминает Иоанна строку из книги.

– Я бы хотела прочесть эту твою книгу. Сможешь мне дать на время, когда кончишь ее читать?

– Я никогда не кончаю ее читать, детка, – улыбается садовник. – Эта книга не для тебя. Когда вырастешь, прочтешь ее. Если до тех пор...

– Что до тех пор? – Иоанна ощущает некую тайну в словах садовника.

– Слова тоже живут и умирают, детка. Слова, в которых сегодня сила и они волнуют наше сердце, завтра умирают, и нет в них больше никакого смысла. Когда ты будешь большой... Тогда, детка, будем надеяться, что придет черед новых слов.

– Очень странно, – шепчет девочка.

– Что странно, детка?

– Все! Все! Все так странно...

Иоанна убегает из теплой и тихой комнаты старого садовника в ночной сад.

И бледный месяц провожает ее по пути к дому.

## Глава четвертая

Мелкий дождик ранним утром падает на желтый песок, смешанный с грязью, и заполняет воздух однозвучным мягким бормотанием, шурша по ковру хвойных игл под соснами, расстеленному у подножья церквушки на холме. Иногда слышен треск обламывающихся веток, крики птиц и лай собаки, разрывающий безмолвие. Ветер постанывает над верхушкой церквушки.

У входа в нее стоит Оттокар и со скукой смотрит на публику, собравшуюся отдать последний долг черной принцессе.

Из ближних и дальних своих усадеб приехали аристократы – в черных, некогда щегольских, а ныне слегка обветшавших и поблескивающих от времени одеждах. В руках у них платки с широкой черной каймой. Дождик немного портит серьезность картины прощания. И каждый раз кто-то из уважаемых участников печальной церемонии тайком извлекает из кармана второй, более простой платок, чтобы вытереть влажное лицо. Ветер швыряет струи дождя под зонтики. Но, несмотря на плохую погоду, взгляды всех устремлены вперед, как будто обряд погребения в полном разгаре, хотя пастор давно завершил проповедь у могилы принцессы, говоря о воскрешении мертвых в конце времен. Засыпают гроб землей и, затем, – дорогими цветами. Она похоронена в церкви

на холме, в длинном ряду могил принцев Бранденбургских, начинающемся могилой Иоханнеса Черного Медведя.

Это он построил церковь в честь своего рода много поколений назад. Он считается родоначальником Дома Бранденбургской династии. Был предводителем войска грабителей. Широкая его грудь была густо заросшей черными волосами, как и мощные мышцы рук, потому и кличка его была – Черный Медведь. Налетал он от западных лесов и грабил идущих и едущих по дорогам. Когда в стране размножились шайки грабителей и прибыль уменьшилась, душа его открыла Иисуса милосердного, и он двинулся в путь – найти христианского бога для своего клана язычников. Двигался он вдоль рек, пока не добрался до реки Шпрее, до страны странников и их бога, до лесов, болот и равнин желтого песка. Длинный ряд процветающих сел построили кочевники вдоль реки, и над каждым селом, на холме, срубили из дерева обитель своему богу – церковь. Там обитал владыка народа и страны – Триглав, бог богов, три головы которого обращены были в прошлое, настоящее и будущее, и он был верным стражем своих сынов в этих селах. Иоханнес Черный Медведь разорил и раздавил своими большими лапами эту страну, погулял здесь его мечи. Десятки тысяч кочевников с их женами и детьми он изгнал в болота. Именем десяти заповедей разбил в пух и прах их богов. Осколки бога богов Триглава он вышвырнул в реку. Страну и ее обитателей проглотил он своей огромной пастью. Наслаждался обжор-

ством, как пьяница, зверствовал, заглатывая все, что попадалось по пути, так, что лопались кишки, и росло брюхо, и становилось тяжелым дыхание. Лишь тогда он оставил разгул и построил серую крепость-замок с толстыми стенами, чтобы в нем отдохнуть от дикого обжорства. Победенного бога богов Триглава он поставил символом на своем знамени. Напротив замка, на холме, выстроил изящную церквушку в честь Святой Марии. Пресыщенный грабежами и чревоугодием, уселся Медведь всей своей тяжестью на эту ограбленную и обнищавшую страну, и тень его убежища с высокими мощными стенами упала на леса, болота и все села вдоль реки.

Замок этот по-прежнему стоит на холме, но после Мировой войны перешел во владение Республики. Деньги черной принцессы, последней наследницы рода, были съедены инфляцией. Не было у нее возможности содержать замок предков. Дворец Иоханнеса Черного Медведя был вписан в книги маленького городка как странноприимное убежище. За копеечную оплату мог каждый прохожий и странник прийти в этот дом и посидеть в гравированном кресле Черного Медведя.

Сегодня словно вернулось прошлое. Длинная шеренга черных рыцарей движется парадным шагом по тропе, ведущей на площадь, к своим каретам и автомобилям. Но по обе стороны узкой дороги стоят крестьяне, обнажив головы под дождем, и отвешивают глубокие поклоны дворянам, пере-

прыгивающим лужи.

Оттокар стоит у входа в церковь и наблюдает за черным парадом. Рыцари прошли мимо него, как мимо незнакомого им человека, и он посылает легкий и горький смешок вслед колеблющимся на ветру зонтикам, отворачивается и входит в церковь. Отец его, граф фон Ойленберг, все еще там, стоит в окружении друзей, пастора и адвоката.

«По какому праву, в общем-то, поставил отец сам себя здесь владельцем и господином всего? – думает про себя Оттокар. – Черная принцесса ненавидела его всю свою жизнь. Но, может...»

Оттокар отступает и втягивает голову в плечи.

«Кто знает, что творилось в последнее время в ее голове? Какой тайный союз связал ее с графом из Померании?»

Оттокар вперяет задумчивый взгляд в лицо отца. Кажется, он впервые видит это лицо столь оголенным.

– Ты трус, Оттокар, ты не достоин называться моим сыном, ты – сын прусского юнкера, – бывало, выговаривал ему отец, словно делая прививку от, как он считал, трусости.

Теперь Оттокар улыбается и не отрывает взгляда от глаз отца. Годы тяжело отразились на лице графа фон Ойленберга-старшего. Щеки впали, мышцы ослабели, глубокие морщины пролегали по сторонам толстого носа. Лишь монокль, посверкивающий в одном глазу, все еще придает высокомерие и кажущуюся твердость дряблему лицу. Узкие губы еще сохранили упругость и свежесть. Высок ростом граф из По-

мерании. И в черном на толстой подкладке пальто он выглядит еще более огромным и неуклюжим.

«Хотел бы я знать, лежит ли все еще на его столе единственная книга, которую я видел в его руках – «Лошадиные болезни»».

Глаза отца и сына встречаются. Решительный рот отца закрывается. Сухой кашель слышится в церкви Святой Марии. Оттокар не опускает головы. «Я уже не трус, отец».

Голоса друзей вокруг отца замолкли. Взгляды многих косятся на Оттокара. Монокль напротив него сверкает, и Оттокар стоит спокойно и наблюдает.

– А-а, – роняет граф фон Ойленберг и натягивает перчатки.

Шарканье ног. Юнкеры расходятся. Без слова приветствия проходят мимо Оттокара. Отец, отставной генерал, в сопровождении пастора и адвоката приближается к нему. Чувствуется, что он с трудом сохраняет вертикальным тяжелое свое тело.

– Прошу прощения, уважаемый отец, – Оттокар склоняется в поклоне, – полагаю, отец, что некоторые дела требуют выяснения между нами.

Слабое эхо завывающего ветра слышится в церкви Марии на холме.

Граф поднимает голову, говорит поверх голов, в пустое пространство.

– Обычно я обедаю внизу, в городке, в ресторане имени

Фридриха Великого.

– Прошу прощения у уважаемого генерала, – кланяется адвокат, – я возвращаюсь в Берлин. Срочные дела. Естественно, если я ему понадобится, то весь в его распоряжении.

– О, нет, – отвечает генерал приятным насмешливым голосом, – не думаю, что в этом вообще есть необходимость, – и смотрит с откровенным презрением на сына. – Можете вернуться к вашим делам, – говорит он адвокату.

Лицо Оттокара багровеет. Старое чувство бессилия, которое охватывало его во время наскоков отца, вернулось.

«Ты уже не трус, Оттокар... – поддерживает его внутренний голос. Он сдерживает себя и обращается к отцу, состроив приветливое выражение лица:

– Нет у меня срочных дел. С удовольствием провожу тебя в ресторан – к обеду.

В церкви слышны лишь быстрые удаляющиеся шаги пастора и адвоката. Оттокар медленно движется за отцом по узкому проходу между скамьями, ведущему к выходу.

Севернее церкви, на вершине противоположного холма, стоит дворец Иоханнеса Черного Медведя. Мелкий дождик окутывает серебристой кисеей серые его стены. Стекла сверкают, как серебряные зеркала. На фоне этого холодного металлического блеска кажутся во много раз более темными леса на туманном горизонте. По тропам, ведущим от церкви вниз, в села, спускаются гуськом крестьяне, возвращающие-

ся домой с похорон. Длинной темной шеренгой петляют они вниз по склону.

Дождь усилился, и внезапный порыв ветра подхватывает его струи. Граф фон Ойленберг остался стоять у выхода из церкви. Сын стоит рядом с ним. «Жди отца, – шепчет Оттокар у внутреннего голоса, – а я тебе подскажу, о чем говорить».

– Сейчас они посыпят соль на пороги домов, чтобы успокоить хлещущий дождь. Но, полагаю, на этот раз не преуспеют. Этот дождь не скоро перестанет лить. Не так ли, отец?

Граф не отвечает, поднимает воротник пальто, прикрывая лицо.

– Жив ли еще в селе старый конюх из дома принцев, отец? Я видел его последний раз перед уходом на войну. Он был большим другом Детлеву и мне. Мы часто заходили в его маленький домик. Он виден отсюда – третий дом с красной крышей.

Отец поворачивает лицо сторону села, в сторону покатых красных крыш.

– Там была широкая печь, – продолжает Оттокар. – Эти печи дымят, пока разогреются. А когда жар в них становится сильным, они начинают жужжать. Старик был из племени вендов. Все жители этих сел – венды. Не так ли, отец?

Генерал смотрит в пространства дождя и ветра.

«Говори, говори, Оттокар, – продолжает внутренний голос, – не молчи!»

– Мы сидели у жужжащей печи, и старик рассказывал нам

историю Триглава. Говорил, что бог Триглав не умер. Иоханнес Черный Медведь отсек ему мечом две головы – прошлого и настоящего. Голова будущего осталась целой на его шее, и в здравии и целости бог сошел в глубины реки. По ночам он выходит, взвихривая песок в степи, и река начинает бушевать, – Оттокар упрямо пытается заставить отца ответить. – Выходит оскорбленный бог из глубин реки, скачет верхом на волнах по Пруссии, и единственная его голова – голова будущего – задумывает мщение. Красивое сказание, не так ли, отец?

Генерал срывается с места бегом – в дождь и ветер, и Оттокар – за ним. Сырость проникает в кости сквозь одежду. Роскошный автомобиль ожидает их. Граф забивается глубоко на заднее сиденье и продолжает молчать. Оттокар сидит рядом с ним и тоже молчит, выглядывая наружу. Каждая тропинка здесь ему знакома. Вдоль всей дороги словно бы посажены, подобно деревьям, воспоминания детства. Черная принцесса и мать Оттокара были сестрами-близнецами. Крещены они были в церкви на холме. Мать его была светлоглазой и светловолосой. По родовому имению – замку предков – страдая от холода, всегда ходила в толстом шерстяном свитере, облегающем дрожащие плечи даже в летние дни. Только в церкви она снимала с себя кофту, глаза ее блестели, и румянец выступал на бледном лице. За отца Оттокара, графа и генерала фон Померана, вышла замуж по принуждению. Так и не сумела привыкнуть к его металлическому

голосу, громкому марширующему шагу и посверкивающему моноклю в глазу. Спустя несколько дней после того, как черноволосая ее сестра родила сына, родила и она. Сестрица совсем не была похожа на нее. Росла настоящей дочерью рода Бранденбург. Семейная гордость была сутью ее души. Больше всего ее беспокоило, что когда-нибудь ей придется сменить свое гордое имя на имя мужа. Из множества тех, кто просил ее руки, выбрала она бледного и слабого дипломата, заседавшего в парламенте кайзера, которых не был в силах отбросить ее гордое имя и оттеснить ее высокомерный облик. Она забеременела, а дипломат скоростижно скончался. После его смерти она вернула семейный герб на двери своей виллы, а сыну дала имя черного рыцаря. Детлев – назвала она его, Иоханесс Детлев, принц фон Бранденбург.

Обоих мальчиков крестили в церкви на холме древнего бога, разбитого на куски, и оба росли в доме черной принцессы. Мягкая по характеру, бледная мать привезла плохо прибавляющего в росте сына к сестре в столицу. Ненависть к мужу заставила ее расстаться с единственным сыном. Она хотела спасти его из рук генерала фон Ойленберга, который старался всяческими упражнениями вырастить из сына спартанского воина, преданного шагистике. Вся его теория воспитания заключалась в одной фразе:

– Ты трус, Оттокар, слабодушный, и не достоин носить мое имя.

Оттокар бросает мимолетный взгляд на отца. Генерал ку-

рит толстую сигару, лицо его погружено в меховой воротник пальто.

С большой любовью приняла черная принцесса маленького сына сестры в свой дом. Суровая черная принцесса, к сестре была мягкой и доброй. Графа фон Ойленберга она ненавидела ненавистью своей светловолосой несчастной сестры. Детлев и Оттокар были настоящими братьями в доме принцессы. Детлев играл на скрипке, а он высекал скульптуры из камня. Несмотря на черствость принцессы и жесткий характер, душа ее была открыта искусству, полна глубоким преклонением перед любым нежным звуком, перед каждым звучным словом, перед каждой картиной, несущей свежее дуновение в сердце. Она по-настоящему гордилась сыновьями, преданными искусству. С большой любовью привязалась она к светловолосому сыну, который готовился стать профессиональным скрипачом.

Им было по шестнадцать лет, когда грянула Мировая война. Со всеми одноклассниками они присоединились к ученическому союзу, поставившему перед собой цель, когда настанет их час, поразить изменника Альбиона. Они пили кофе из чашек, на которых было начертано: «Бог поразит Англию». Этот девиз был также приколот к лацканам их пиджаков. Но сама война их не очень манила. Выезжали они на экипаже – прокатиться по улицам Берлина. Черная принцесса сидела между ними во всем своем гордом величии. Ехали мимо шеренг людей, которые петляли по улицам в сторо-

ну призывных пунктов, толпились у продуктовых магазинов. Катили по самой роскошной улице Берлина – Липовой Аллее – Унтер ден Линден, там маршировали войска во всей своей высокомерной уверенности. Мундиры посверкивали, плечи блестели погонами, барабаны призывали к бою, трубы торжественно прославляли войну.

– Вернемся домой, мама, – умолял Детлев, глаза его напрягались от рева голосов и духовых оркестров, – мои нервы не выдерживают пыль и грохот.

Нервы Детлева чувствительны были к скрипичным струнам и трепетали от каждого режущего звука. Иоанн Детлев, принц фон-Бранденбург, носящий имя Иоханнеса Черного Медведя, до самой смерти хранил в душе мягкость и скорбь звучания колоколов, вызванивавших песню крещения.

Глаза черной принцессы покоились на страдающем лице сына, голос ее приказал увести карету от марширующих солдат. Сердце ее не было расположено к этой войне. В кайзере Вильгельме она видела образ своего мужа, бесхарактерного дипломата, сидящего в парламенте, и не было у нее никакой веры в этого кайзера и в его войну.

Когда в стране прозвучал призыв «золото за железо!» – и пришли к ней в дом с просьбой пожертвовать драгоценности и золото родине, она не просто ответила отказом, а прямая и высокомерная, громким смехом проводила их до ступенек дома, и пришедшие быстро убрались восвояси.

– Жадная женщина, – сплетничали ей вслед, – страшное

существо, настоящая террористка.

Но сыновья по-настоящему ее любили – за прямоту и достоинство.

Когда в стране прозвучал призыв к молодежи – идти добровольцами на войну, она поторопилась увезти сыновей из столицы во дворец Иоханнеса Черного Медведя и укрыть в толстых его стенах, удалить от войны кайзера Вильгельма и от всего, что происходило в Германии. Тут охранял их тяжелый взгляд черной принцессы, восседавшей в кресле у камина в огромном и роскошном рыцарском зале. Около нее два грозных охотничьих пса, готовые броситься на любого, кто попытается ворваться без разрешения через дубовые входные двери. Рядом с ней жила и графиня. Она присоединилась к семье – найти убежище и защиту во дворце предков. Муж ее, генерал, ушел на войну. Она укутывала тонким свитером плечи, и часто со страхом поглядывала на тяжелые двери, ожидая, что вот-вот ворвутся к ним. Сидя у пылающего камина, светловолосая графиня прислушивалась к ветру – может, долетит до нее из церкви на холме хотя бы один мягкий звук, заблудившийся в струях ветра. Колокола там звонили по ночам, когда бушевала буря. Но ветер был сильнее всех звуков, и бледная графиня сжималась в полном бессилии.

– Нет убийц от рождения. В каждом человеке, павшем в бою, гибнет образ Божий, и мщение Бога грядет, – и черная принцесса, сидящая в кресле, резко смеялась, ударяла кон-

чиками туфель псов, лежащих у ее ног. Те отвечали ей лаем, скаля пасти, и хвосты их били по полу.

– Христиане, – говорила она своим глубоким властным голосом, – всегда обожали человеческую плоть. Во все времена они приносили ее в жертву своему богу в избытке.

Она поднимала руки и смеялась.

Два чучела сов бросали длинные тени в свете, идущем от сверкающей хрустальной люстры, на ковры и мебель, на мраморные головы германских героев, стоящих на мраморных столбах вдоль стен, на гобелены времен Ренессанса за их спинами, на портреты святых, ангелов, царей, на напольные искусно гравированные часы. Все это скопилось за поколения в зале Иоханнеса Черного Медведя.

А глаза светловолосой графини не отрывались от двери.

И действительно, однажды дверь была взломана, и генерал фон Ойленберг вошел во дворец. С открытой ненавистью смотрела черная принцесса на вторгшегося вояку. Прямо с поля боя приехал он увидеть свою семью, скрывающуюся во дворце. Запах пота и табака шел от его одежды, и монокль неизменно торчал в глазу, хмуро глядящий на сына. В те дни Оттокар уже был высоким юношей с крепкими мышцами, широкими плечами. Только руки, нежные, с длинными пальцами, были бледны. Глаза отца брезгливо смотрели на эти чувствительные руки скульптора, работающего с глиной.

– Ты трус, Оттокар! Ты трус!

И тогда в нем возникал внутренний голос:

«Ты не трус, Оттокар! Докажи это ему!»

Но сын не прислушался к голосу души, и сдался насмешкам и презрению отца.

Черная принцесса сидела в своей комнате и пропускала рюмку за рюмкой. Пила напропалую. Графа из Померании выгнала из дома, сына заперла в его комнате и дала указание запереть накрепко ворота серого дворца. Сын ее не пойдет на проигранную войну кайзера Вильгельма!

В эти дни Детлев выглядел совсем как юноша. Узкая грудь и мечтательные глаза. Детлев умел своими тонкими, чувствительными, как у девушки, руками открывать тяжелые железные ворота, чтобы выйти из замка. Так, вместе с Оттокар, они сбежали на фронт.

До этого Оттокар упрашивал его остаться с матерью и своей скрипкой. Светловолосая графиня также упрашивала сына не слушать отца. Дрожь прошла по ее телу в тот миг, когда генерал переступил порог.

«Ты трус, Оттокар!» – остался голос генерала среди стен даже после того, как он убрался.

Оттокар больше не возвращался к этому окрику, как и Детлев. Он только потребовал, чтобы не было никаких поблажек в связи с высоким званием отца и положением родителей. Они пойдут не на войну, а вместе со своим народом, как простые солдаты.

Детлев пал в первые же дни, во Франции.

Он подчинился приказу хравого генерала и заплатил за это жизнью.

Мать Оттокара, светловолосая принцесса, умерла по пути, когда неслась к сестре в Берлин сообщить ей горькую весть. Оттокар тоже примчался к тете, но она захлопнула перед ним дверь дома, сжигаемая к нему лютой ненавистью. В глазах ее он был убийцей ее сына, не более и не менее! Смерть, забрав сына и сестру, лишила ее величия и гордыни. Черная принцесса тронулась умом, ожесточилась духом и наглухо заперлась в своем доме.

Оттокар приехал к отцу в их усадьбу в Померании. В густом лесу, окружающем усадьбу, генералы в те дни проводили маневры с солдатами, готовясь к восстанию против Республики. Граф фон Ойленберг стоял во главе «Путча Каппа».

В дни путча Оттокар шел в колонне протестующих пролетариев по улицам Берлина. Усадьбу отца он покинул навсегда. С этого момента он стал бездомным, и жильем ему служило чердачное помещение странноприимного дома Нанте Дудля. И он все поглядывал на дело своих рук – незаконченного глиняного идола – бога богов Триглава.

«В день рожденья, освободившись из острога,  
Атеист-художник сотворил себе бога», —

прыгают перед глазами Оттокара буквы двестишестидесяти Нанте

те Дудля. Кто надоумил несчастную тетушку, черную принцессу, завещать свое состояние национал-социалистической партии? Кто продиктовал ей завещание?

«Борись за свое наследство, Оттокар? Борись!» – настаивает и настраивает его внутренний голос.

Оттокар всем корпусом поворачивается к отцу, но в этот миг автомобиль останавливается, шофер дает долгий назойливый гудок. Официант выскакивает из ресторана, раскрывает большой зонт над графом фон Ойленбергом. Большие буквы на вывеске возвещают, что здесь ресторан кайзера Фридриха Великого, и позолоченная корона власти бросается в глаза Оттокару. Официант проводит их в небольшую отдельную комнату. Столики накрыты к обеду, и на всех карточках – «Заказан». В комнате еще нет никого, но резкий запах алкоголя и сигарного дыма заполняет все пространство. С глубоким поклоном официант подает им меню. Граф погружается в изучение блюд и вин, не выпуская сигары изо рта.

– Выбрал, – объявляет граф.

– Выбрал, – имитирует Оттокар голос отца.

Официант уходит, и они остаются один на один. Граф поправляет монокль и сухо покашливает. Рука Оттокара нервно поигрывает салфеткой, генерал не отводит взгляда от бледных пальцев сына.

– Что за честь мне сегодня представлена – трапезничать с моим дорогим сыном? – говорит он властным голосом.

– То, что требует объяснения между нами, уважаемый отец, тебе известно, – Оттокар кладет обе руки на стол и откидывается на спинку стула. – Я полагаю, что надо завершить дело с завещанием почившей тетушки.

– О, – произносит скучным голосом граф, вынимает монокль из глаза и с большой тщательностью вытирает его салфеткой. – Это завещание, – продолжает он, – подписано. Как сообщил тебе адвокат покойной, в нем есть параграф, полностью лишаящий тебя наследства. Что еще требует выяснения между нами? – закидывает голову граф.

«Сдерживай себя, Оттокар. Сдерживай себя. Не впадай в ярость».

– Мне бы хотелось знать, – сдерживает Оттокар гнев, – что заставило тетушку завещать свое имущество нацистам? – и голос его спокоен, как голос человека, спрашивающего название улицы. Звук спокойного делового голоса выводит из себя генерала. Он опускает голову, и щеки его трясутся.

– Твоя тетя хотела увековечить память своего сына. Дом ее теперь будет клубом гитлеровской молодежи. В саду поставят памятник Детлеву, и юноши, проходящие мимо памятника, будут отдавать честь молодому германскому герою, который положил свою жизнь на алтарь родины.

– Вина! – приказывает генерал официанту, который принес суп. – Я ведь заказывал вино.

Он не любитель речей, и вообще не привык выражать словами свои мысли, но сегодня... перед сыном что-то разгово-

рился.

– Вина, официант, вина! – победно трубит его голос.

«Детлев – германский герой, – рука Оттокара снова теребит белую скатерть. – Господи, Детлев – германский герой». Лес во Франции, и голова Детлева – на хвойных иглах. На всю жизнь в нем застыла эта страшная картина. Он сидел около убитого и рыдал, как ребенок. «Заткнись! – крикнул кто-то ему. – Вытри слезы. Ты не у мамкиного подола». – «Эти сволочи – пруссаки, – сказал кто-то другой, – уже посылают младенцев в эту мясорубку, и режут их, как поросят».

Генерал помешивает ложкой золотисто-желтый суп. Входят двое мужчин в охотничьих одеждах с ружьями в руках. Сапоги их громко стучат по полу. Они уважительно приветствуют графа.

– Приготовь кролика, что мы подстрелили, – приказывает один из них официанту, – а нам пока принеси пива и сосисок.

Оттокар смотрит на двух усачей, перед которыми стоят два огромных бокала пива, и рты их с большим удовольствием жуют жирные сосиски. Тошнота одолевает его. Ему кажется, что помещение полно стенаниями убитых животных.

Генерал съел свой суп. Ложка позванивает в пустой тарелке. Оттокар сделал всего лишь несколько глотков.

– Нет у тебя хорошего аппетита сегодня, – подшучивает над ним генерал.

– Нет, уважаемый отец, совсем нет.

Официант тем временем положил в его тарелку большие

куски свинины.

«Режут их, как поросят», – возвращается голос из леса, и тошнота усиливается. «Ты слабак, Оттокар! – выговаривает ему голос. Оттокар поворачивает голову к окну, и голос, как дыхание некоего привидения, колышет деревья во дворе ресторана. – Преодолей эту слабость, Оттокар! Не сдавайся! Не сдавайся ему!»

– Полагаю, – говорит генерал, – теперь тебе все ясно.

– О, нет, отец! – Оттокар отпивает немного вина. – А я полагаю, что это завещание не в духе Детлева. Оружие голоса, стучащие в марше сапоги, сверкающие мундиры, развевающиеся знамена, выкрики солдафонов... Все это поселится в доме Детлева, который из-за смягчения мозга его ма-тушки был отдан в неверные руки. Я с этим не соглашусь. Это оскорбление памяти Детлева и всех его предков – старинной аристократической династии. Низкое использование больной женщины. Я буду бороться за мое законное право хранить мой дом в чистоте и правде.

Монокль выпадает из глаза генерала. Поток столь решительной речи Оттокара испугал его, и он почувствовал на миг свою слабость перед напором сына.

– Что ты собираешься сделать?! – вскрикивает генерал, и жилы вздуваются у него на висках.

– Обратиться в суд и доказать, что принцесса была не в своем уме, когда писала завещание, и нет у этого завещания никакой юридической силы.

Граф-генерал раздражается гневным хохотом.

– Ты забыл, что суд, куда ты собираешься обратиться, – это германский суд.

– Нет, отец, я ничего не забываю. Пока еще в этом государстве есть закон и порядок. И я надеюсь, что и в будущем этот закон и порядок будет сохранен.

– По понятиям порядка таких, как ты, и тебе подобных? – презрительно говорит генерал.

– У каждого свои понятия, – старается сын завершить разговор с отцом.

– Верно, – наклоняется граф над столом, приближает свое широкое красное лицо к сына, и ударяет кулаком по столу. стакан в руках Оттокара подрагивает. Нет смысла продолжать беседу.

– Верно, отец, – как бы мельком говорит Оттокар и смотрит на чистую дорогую рубаху отца – Я не спорю с тобой. Пришло время действовать.

– Кофе! – кричит генерал. – Кофе, официант!

– Полагаю, что исполню твое желание, уважаемый отец, если отправлюсь отсюда и сейчас своей дорогой.

Генерал не отвечает.

«Только так, отец, – говорит Оттокар про себя. – Если твое желание действовать по призывам твоей партии: только так!» – встает с места, наклоняет голову в легком поклоне.

Любопытные глаза охотников провожают его до дверей.

Продолжается дождь. Оттокар скрывается за арочной две-

рю ресторана, пытаюсь успокоить свои мысли и рассчитать свой следующий шаг. Два кучера в синих шинелях тоже стоят под прикрытием навеса над входом.

– К церкви на холме, – приказывает Оттокар.

\* \* \*

Над могилой Детлева скрипят ветви деревьев. «Иоанн Детлев принц фон Бранденбург», – высечено большими буквами на тяжелой мраморной плите, покрывающей могилу. Но Детлев похоронен не здесь. Кости его покоятся в черной жирной земле леса во Франции. Оттокар стоит под прикрытием огромного дерева. Сквозь ветви изредка прокрадываются струйки дождя и увлажняют лицо. Он облизывает губы, ощущая теплый вкус влаги.

Иоанн Детлев принц фон Бранденбург.

За могилой Детлева распростерты темные лесные массивы, песчаная и болотная степь. Болотные воды собрались в озера, темную поверхность которых не отличить от поверхности болота, окольцовывающего их мшистым поясом. Деревья и цветы не растут по берегам этих озер. Природе здесь снятся печальные сны. День темнеет к вечеру, и ночь уже близится и витает над озерами, подобно черным перьям, сливающимся с чернотой болот. У подножья лесов простираются желтые пески, скрипящие под ногами шагающего человека. Только река вносит струю радости в эти жесткие скудные

земли.

Обрывки ветвей с деревьев упали на могильную плиту матери Оттокара. Бедная мать. Она ходила по этой земле, постоянно дрожа от холода. Она была единственной истинно христианской душой, которую Оттокар встретил в своей жизни. Она не раз повторяла им рассказ о высоком и худом монахе Антонии, который сопровождал Черного Медведя на пути обращения в христиан колен язычников. Душа монаха не соглашалась с резней неверующих, ибо убеждением, а не мечом он пытался обратить их души к праведности. Он пытался образумить Черного Медведя, пока гнев не ударил тому в голову и он не прикончил мечом и монаха, мечом, которым разнес в щепки трехголового бога богов Триглава. В этом месте рассказа дрожь пробежала по телу матери, и она укутывала плечи свитером. А черная принцесса заходилась диким смехом, слушая рассказ сестры. Никогда у нее даже мысли не возникало удерживать свою безумную душу в почтении к христианам. Никогда не унижала себя до этого, но страсти в ней бушевали, как дикие ветры в степи. Если бы она впитала хотя бы малую часть христианской морали от светловолосой своей сестры, стала бы великой женщиной, но нет...

Быстрым движением вытирает Оттокар лицо и приближается к могиле Детлева. Как это случилось, что она, гордая женщина, пошла к генералу, которого ненавидела всей душой всю дни жизнь, и к этому адвокату с водянистыми хит-

рыми глазами? Какое отношение она имела ко всем их призывам и лозунгам – о Версальском договоре, о мщении погибших, о тысячелетнем Рейхе. Неужели душа ее была захвачена идеей о поклонении юноше, которое войдет в дом молодого германского героя Иоанна Детлева, пролившего кровь во имя родины? Она не виновата в этом, Детлев, не она! Кто же? Надо что-то предпринять, Детлев, и не на словах, а на деле. Суд? Да, суд. Но кого судить? Это ведь не только мой отец-генерал и его компания. Это миллионы, тянущие руки ко всему, что принадлежит нам. Они ограбят тебя, Детлев. Они превратят тебя в «молодого германского героя», тебя, который хотел стать скрипачом и выразить свои мечты в звуках. Они изнасилуют твою душу. Когда мы были юношами, и я говорил тебе: «Детлев, надо сделать что-то реальное», – ты глядел на меня умоляющими глазами, словно говоря: пожалуйста, сделай это за меня. Ты закрывал глаза, давая понять, что надлежит это сделать мне.

Оттокар прикасается руками к холодному влажному мрамору плиты, гладит пальцами высеченные большие буквы. Прикосновение к мрамору пробуждает в нем сильное желание ощутить в руках молоток и зубило.

«Высеки его облик. Ведь он, по сути, и твой!»

Между позолоченных букв возникло перед его глазами объявление о конкурсе на скульптуру Гете.

«Детлев, отличное предложение. Пойду я в объединение любителей Гете. Гете, гигант духа, подобен и тебе и мне? Я

попытаюсь освободить его душу из безжизненного холодного камня».

Из глубины долины доносится долгий страдающий вопль цапли.

«Все годы я был поглощен одним творением. Была у меня одна мечта – освободить из оков разбитого в осколки бога богов Триглава, этого униженного бога, продолжить путь высокого и худого монаха, придать голове будущего этого бога варваров выражение страдающего христианского бога. Но дни наши не уготованы для мечтаний, Детлев. Сейчас – время действий и воплощения в реальности. Оставлю я этого бога и выйду на улицу – найти место Иоганну Вольфгангу фон Гете и поставить скульптуру великого мечтателя против всех этих дельцов».

В церкви на холме звонят колокола, возвещая наступление вечера. Но звуки эти не в силах одолеть дух Оттокара, ведь эти колокола отлил бес – Иоханесс Черный Медведь.

Оттокар кланяется могиле Детлева. Стоит в молчании несколько минут у свежей могилы тетки. Затем начинает спускаться по тропе к городку, чтобы вернуться в Берлин, в странноприимный дом Нанте Дудля.

\* \* \*

Оттокара встречает городской шум и гомон толпы. Сегодня базарный день. С утра сюда приехали крестьяне прода-

вать свои товары, а теперь к вечеру они катят по мостовой улицу Рыбаков на тархтящих телегах к трактиру Нанте Дудля. Хозяин громко приветствует гостей.

– Добро пожаловать, петушок! От всего сердца! – протягивает Нанте руку крестьянину, и лицо его сияет.

– Поздравления? По какому поводу? – удивляется крестьянин.

– Чему ты удивляешься? Разве у тебя не родился сын, петушок?

– Когда, Нанте? Жена моя на пятом месяце беременности.

– Какая разница? Так или иначе, он должен скоро родиться.

– Твоими бы устами мед пить. Сын. Да кто знает, что там творится у нее в чреве?

– Слушай, петушок, хочешь, чтобы я научил тебя проверенному способу родить сыновей? Слушай знатока этого дела. Не повезет на этот раз, гарантировано тебе, что в будущем пойдут из чрева твоей супруги одни сыновья.

Приближает Нанте Дудль голову к крестьянину и нашептывает ему на ухо совет, пока тот не хлопает себя по щекам и раздражается смехом.

– Да брось ты, Нанте, клоун сын сына клоуна, душа из тебя вон, да усладятся уста твои, извергающие столь мерзкие вещи. В жизни я еще так не смеялся.

Давняя дружба связывает Нанте с гостем. Берет Нанте под уздцы его коня и ведет в конюшню во дворе, изображая на

своём лице невинность.

– Не петушись, дорогой мой дружище, грех на мне тебя обманывать. Я готов доказать тебе делом, что совет мой верен. Глаза твои могут в этом убедиться, петушок, – и Нанте указывает на своего первенца Бартоломеуса, слоняющегося между телегами со своим товарищем Густавом.

«Цветущий Густав» – владелец маленькой ручной тележки, на которой развевается надпись на куске белой ткани: «Без труда и терпенья нет цветенья!». Отсюда и имя – «цветущий Густав». На своей тележке он везет домохозяйкам жирный чернозем и продает им для заполнения вазонов и ящичков для цветов. Зимой и летом на голове его соломенная шляпа и шорты вместо брюк. Лишь только видит Густав Нанте Дудля, ведущего коня, мгновенно улетучивается его благостное настроение.

– Нанте! – раздражается он страшным криком. – Оставь коня в покое!

– Это почему, позволь тебя спросить? Это что, дикий конь, Густав?

– Какой дикий? Падаль, от легкого толчка опрокинется копытами кверху.

В мгновение ока возникает великая ссора во дворе Нанте Дудля между крестьянином, защищающим честь своего коня, и «цветущим Густавом», острым на язычок.

Во дворе Нанте Дудля кудахчут куры, гомонят голуби, а у дверей дома сидит на цепи злой донельзя пес Николас. На

крыше конюшни растянута для сушки кошачьи и кроличьи шкуры. Нанте Дудль стоит рядом со своим Бартоломеусом, и оба развлекаются ссорой до тех пор, пока во дворе не появляется Линхен. С красным от работ и забот лицом она обращается к мужу:

– Нанте, чтоб тебя черт побрал, Нанте! Ресторан полон, а ты бездельничаешь и делать ничего не хочешь!

Нанте Дудль слышит голос доброй своей женушки и бежит в ресторан.

Крестьяне, лодочники и просто люди с улицы набились в помещение – все они давние друзья Нанте Дудля. Усталые крестьяне сбросили ботинки и разлеглись на грубых деревянных скамьях. На столах разложили еду, которую обычно приносят из дому – круглые коричневые буханки хлеба и огромные жирные куски свинины. У доброй Линхен они всего-то берут стакан желтого пива и тянут его малюсенькими глотками, вызывая у Линхен гнев. Она считает, что эти крестьяне приносят ее делу одни убытки. Веником она выметает песок, скопившийся от крестьянской обуви. Всею душой она с лодочниками и корабельщиками. Эти приплывают на своих судах, оседывая волны реки, одежды у них цветасты, радуют глаз. Это веселый, легкий на подъем народ, тяготы жизни которых смягчает река, придавая легкость их походке. Как урожденные берлинцы, труженики Шпрее, любят они шутку, смех, вино и песни. Они щедры. Нанте встречают с радостью и кликами.

– Добро пожаловать, Нанте Дудль!

– Ты мужественный парень, Нанте Дудль!

– Мужественный? Это почему же?

– Не каждый смертный осмелится ходить на таких тонких спичках, как твои ноги!

Нанте отвечает им громким смехом. Шутливая атмосфера царит в ресторане. Лишь бритоголовые крестьяне с короткой щетиной на щеках, делающей их похожими на ежей, равнодушно взирают на шутки, смех, веселье у прилавка Нанте Дудля, откусывают и жуют большие куски свинины. Зубы их, подобно пилам, вгрызаются в мясо, глаза усиленно мигают при этом.

Около маленького столика сидит граф Оттокар и следит за происходящим. Он вернулся усталым и присел успокоить нервы. Руки его поигрывают солонкой. Он вглядывается в замкнутые лица покорно, по-коровьи жующих крестьян, и видит уважаемого тайного советника Иоанна Вольфганга фон Гете, сидящего на его месте.

«Здесь не пой моих песен», – нашептывает на ухо внутренний голос.

– Здесь нет, здесь нет! – громко говорит граф.

– Что, господин граф? Чего здесь нет? – спрашивает его «цветущий Густав», стоящий недалеко и услышавший слова графа. Тут же возникает «граф Кокс», придвигает стул ближе к Густаву, бросает подозрительный взгляд на графа и шепчет Густаву:

– Ты можешь приехать за землей, Густав. Ночью мы снова копали...

– И нашли? – спрашивает Густав с большим интересом.

– Ничего не нашли, – отвечает «граф Кокс». – Но мы близки к находке.

– Что они ищут? – спрашивает граф-скульптор.

– Клад, граф. Они живут в старом еврейском дворе. И одна мысль сверлит слабую голову «графа Кокса»: богатые евреи зарыли серебро и золото под камни. И все это спрятано для него. При полной луне он выходит со всей ватагой своих сыновей копать в поисках клада. Мне это выгодно, – смеется Густав, – они добывают мне чернозем для моего бизнеса.

– Такого я еще не слышал! – говорит граф.

– Почему, господин? У человека должна быть хоть одна надежда в жизни.

Граф вперяет скучный взгляд в лицо шутника и неожиданно спрашивает:

– Густав, сможешь ли ты дать мне совет? Я ищу место в рабочем квартале Берлина для памятника Гете. Ты, конечно, читал объявление о конкурсе, объявленном муниципалитетом Берлина.

– Ой, Иисусе, граф, – заходится долгим зевком Густав, – и это мне тоже надо знать. Все столбы и афишные тумбы залеплены этим дерьмом к выборам.

– Минуточку, Густав. Я ведь только прошу у тебя совета. Ты же знаком с Берлином.

– Густав? – смеется шутник. – Кто с ним знаком, если не я. Я знаю каждый его уголок. – Лицо его становится серьезным. – Граф, хотите знать Берлин? Найти убежище среди переулков для вашего Гете? В этом все дело. Я покажу вам Берлин. Густав проведет вас по всему городу.

– Когда?

– В любой час. Нет у меня срочных дел.

– Завтра?

– Завтра, – соглашается Густав.

– Нанте! – зовет граф своего друга. – Две рюмки коньяка.

Новый стишок висит над прилавком Нанте, только недавно вышедший из-под его пера:

Одиночка –

Никто – и точка.

Но еще один кто-то –

Это уже что-то.

Граф и Густав осушают рюмки. И ночью развлекает Нанте Дудль своих гостей, играя на губной гармонике. И у распахнутых настежь дверей собралась толпа – послушать его игру.

У леса, у лесочка

Забудусь я. И точка.

Отца не вспомню я

И мать не вспомню я.

Забудется семья.

Себя я сберегу,  
От смерти убегу.  
Я снова юн. И точка.

Песни Нанте Дудля всегда печальны, и все старики на улице Рыбачьей отирают глаза от слез. Корабельщики затихли, пьяницы замерли в стойке у стойки, и река сопровождает шорохом вод пение Нанте. На горизонте развевается мегаполис знаменами света. Дождь прекратился, и ночь окружает глубокой синевой. Небеса близки и звезды велики.

## Глава пятая

Утро встает над скамьей под липами. На крышах зданий все еще клубится туман. Облысевшие липы напрягают ветви, подобные спицам оборванных зонтиков. Скамья пуста и заброшена в эти сумрачные от тумана утренние часы. Пршедшая суровая зима, жестокая к городу, покрыла скамью плесенью.

Но переулок пылал красным от флагов и пестрел листовками. Флаги скрипят дровками на утреннем ветру над большинством балконов, а окна провозглашают свою приверженность серпу и молоту. Мать Хейни – сына-Огня повесила в окне выцветший красный флаг своего покойного мужа, прикрепив к нему две черные ленты, знак траура по своему убитому сыну.

Флаг этот был единственной вещью, которую ее муж добавил к имуществу молодой семьи. В те дни он работал на железной дороге и глаза его привыкли к свету дальних странств. То были дни бесчинств, дни социалистов. По вечерам товарищи тайком прокрадывались в дом, тасовали карты, бросая их на стол, гадая, что произойдет в мире. Флаг он отдал ей на хранение. Она завернула его в ткань, как пеленают младенца, и спрятала в подвале. И это была тайна, которую они лелеяли вдвоем, и это согревало их жизнь. Он, благословенной памяти, ставил свои огромные тяжелые ку-

лаки на стол, и с доброй улыбкой говорил ей:

– Храни его как зеницу ока, голубка моя.

Муж не дожил до революции 1918 года, когда она шла с демонстрантами, высоко держа этот флаг. То же сделал и ее сын, когда республика была в опасности, в дни путча Каппа. И был сражен пулей полицейского. Черные ленты развеваются в багрянце флага, и с успокоившимся на миг ветром безмолвно сворачиваются на флаге, как руки матери на груди.

Разгневался Отто на эти черные ленты, которые портят праздник и чернят переулочек.

– Старуха, – читал он ей проповедь, – ты думаешь, меня трогает, что ты хоронишь республику этими черными лентами? Ведь по вине этой республики умер Хейни, и кто, как не я, плачет вместе с тобой по этому поводу? Не буду носить траур по этой республике, если она исчезнет. Но, старуха, дни эти не дни траура, а дни войны. Поддерживать дух людей надо, а не вытряхивать из них душу. Ты приносишь большой вред своей партии этими черными лентами. И не только партии вредишь, лицо всего переулочка режешь под корень твоими черными крыльями.

Старуха опускала голову и разводила руками. Отто замолчал, видя страдания женщины.

Рассеялись дождевые туманы. Тайная рука разогнала тучи во все стороны. Весеннее солнце взошло в небо Берлина. Омолодился переулочек. Открываются окна, и между развевающимися флагами возникают непричесанные головы. Голо-

са не умолкают днем и ночью. Старики выходят посидеть на завалинках у домов. Часть из них ушла на тот свет в эту жестокую зиму, часть забрали в дома престарелых. Никто не обратил внимания на их исчезновение. Жизнь продолжается, женщины поутру бегут за покупками. Бруно выходит из дверей своего трактира, вытирает стекло витрины с розовыми телесами жирной Берты. У выхода из трактира стоит широкобедрая Флора, присматривая за мужем.

На горе, между скал,  
Разразился скандал.  
Друг друга гномы били —  
Блин не поделили.

Звуки несутся из переулка. Косоглазый обрел новую профессию – стал шарманщиком. Сопровождает его человек в кепке и точильщик. Втроем они поют.

Голос Ганса Папира подпевает шарманке:

В лунную ночь  
Мне с милой невмочь,  
Прижму и запылаю,  
Добьюсь, чего желаю.

Ганс Папир стоит на крыше своего дома. Там он соорудил кормушку для птиц, которые через месяц должны вернуться из дальних краев. Он поет свою песенку для девиц, которые

идут под ручку на работу. Женщины в окнах закатываются хохотом от его песенки. Девушки повизгивают, поднимают головы к крыше и показывают ему язык, и Ганс еще усиливает голос. Безработные и нищие, которые только сейчас вышли из ворот странноприимного дома «армии Спасения», присаживаются на скамью, жуют черный табак и тоже поднимают головы к Гансу Папиру, поющему на крыше:

В лунную ночь  
Мне с милой невмочь,  
Прижму и запылаю,  
Добьюсь, чего желаю.

Отто тоже поднимает голову к крыше, лицо его искажено гневом:

– Иисус, снова этот угорь извивается на крыше.

Ганс Папир недавно поселился в переулке. Он снял подвал сапожника Шенке, который попросту исчез из переулочка. Странные вещи творятся в эти дни. Люди исчезают, и никто не знает, где они находятся. Пауле потянул за собой куда-то пьяницу Шенке. Госпожа Шенке старалась много не спрашивать, большой радости от мужа она не испытывала, сдала в наем подвал Гансу Папиру, который открыл там магазин для продажи птиц и рыб. Жители переулочка, любящие всем давать клички, прозвали его – Пип-Ганс, кружатся вокруг подвала, вглядываясь в чирикающих птиц и немых рыб, прислушиваются к хриплому лаю пса, проживающего с Ган-

сом и лающего целый день. Сам же Ганс большую часть дня стоит у входа в подвал, провожает взглядом каждую женщину и девушку, бросая им вслед сальные шуточки и соответствующие куплеты.

У него большое мускулистое тело, маленькая головка и узкий лоб. Глаза мутные, водянистые, выходящие из орбит, как шарики, что вот-вот выкатятся наружу. Лицо бледное с дряблой кожей, как у больного. «Специалисты» переулка с особым вниманием присматриваются к его коже и переглядываются с многозначительными улыбками.

– Кожа у него такая, – ставят они непререкаемый диагноз, – из-за того, что много времени провел в темноте.

Они покачивают головами, дружески хлопают его по плечу:

– Это пройдет, дружище, это пройдет.

При этих словах большой его кадык перекачивается в горле от волнения.

Все жители переулка уже знают, что на Ганса Папира открыто дело в полиции, и что он совсем недавно вернулся из тюрьмы. Байки о нем передаются из уст в уста и растут со дня на день. Флора подвела итог этим байкам коротким резюме:

– Люди, что вы ковыряетесь в его делах и все выдумываете, когда все тут ясно, как день. Посадили его за решетку из-за женщин. Вы что, не видите, что только ими он и занят?

Отто отнесся к нему с неприязнью с момента его появления.

– Тело у него нечеловеческое, а голова – угря, – сердито повторял он.

Отто в эти дни занят делами. Над его киоском развеваются четыре красных флага, а четыре стенки заклеены огромными плакатами. На прохожих со всех сторон взирает Тельман в старой кепке. С раннего утра стоит Отто среди этих флагов и плакатов и ораторствует перед собравшейся у киоска публикой. У мужчин много свободного времени. С момента, как погиб Хейни сын-Огня, в переулке не найдется хотя бы один рабочий, имеющий ежедневную постоянную работу. Есть у Отто перед кем произносить свои доказательные и показательные речи.

– Доброе утро, Отто! Доброе утро!

Отто обходит киоск, отирая тряпкой утреннюю росу с лица красного вождя Тельмана.

– Доброе утро, Отто! Доброе утро!

Масса людей собирается у киоска Отто. Мужчины останавливаются по дороге в бюро пособий по безработице. Женщины, идущие за покупками, собираются на углу с товарками – почесать языками. Дети бегут в школу с шумом и гамом. Красавец Оскар покручивает тростью, горбун приходит из трактира вместе с долговязым Эгоном, который сейчас работает грузчиком на вокзале. Горбун Куно в последнее время сильно вознесся, и никто не может понять, по какому праву. Давно уже не занимается розничной торговлей, болтается без дела целыми днями по улицам и трактирам,

не перестает болтать, и денег у него куры не клюют. Улица полнится слухами о нем.

У киоска постукивает каблучками Эльза. На ней весеннее цветастое платье и шляпа с широкими полями, покачивающаяся на ее голове в такт дразнящим, танцующим ее бедрам.

– Красиво, – поглядывает на нее косоглазый, облизывая губы.

– Красиво? – орет Отто. – Это красиво? На это косят глаза в такие дни? Лучше поглядите на наш переулок, люди, каким он стал красивым! – Указывает Отто на принаряженный переулок. – Шаловлив он, наш переулок, немного красного – и грязи как и не бывало.

Отто напрягает тело, готовясь произнести речь. Но тут его прерывает Ганс Папир. Увидев с крыши собравшуюся толпу у киоска, он решил к ней присоединиться.

– Верно, как верен этот день, Отто! Переулок зелен в эти дни. С крыши видно.

– Ты что, дальтоник?! – вскрикивает Отто. – Видели такого, не разбирающего цветов? Цвет красный, а не зеленый. Красный!

– Как это красный, Отто? – изумляется дальтоник Ганс Папир. – Ты хочешь сказать, что флаги на твоём киоске – красные?

– Человек, раскрой глаза! Исправь-ка свое перевернутое зрение. – Лицо Отто багровеет от гнева. – Ты что, не видишь красного знамени?

– Но, Отто, я вижу зеленое, и такое красивое зеленое!

– Убирайся отсюда! – выходит Отто из себя. – Убери свои копыта.

Громкий хохот взрывается у киоска. Веселье в разгаре.

– Пошли со мной, – горбун берет под руку Ганса, – пропустим стаканчик у Флоры.

Долговязый Эгон тянется за ними.

– Свояк свояка видит издалека, – швыряет Отто вдогонку тройце.

Трактир пуст. Между столиками крутится Бруно с неизменной сигарой в зубах и метлой в руках. Флора приказала ему к вечеру убрать паутину из углов стен. Трое усаживаются у большого окна, так, что все происходящее на улице открыто их взгляду. Флора все еще стоит у входа и следит за происходящим. Бруно приносит стаканы с пивом и тоже становится у входа.

– Куно, – обращается Ганс Папир к горбуну, – между нами, разве эти флаги у Отто не зеленого цвета?

– Зеленые, конечно ж зеленые! – решительно подтверждает горбун.

– Почему же Отто все время утверждает, что они красные?

– Почему? Тоже мне вопрос. У Отто все красное. Даже черное.

– Ну, что ты говоришь? – обижается Ганс Папир. – Я бы и подумать не смог, что Отто такой. – Ганс делает большой

глоток пива.

– Но, Куно, – пытается долговязый Эгон установить истину.

– А ты заткнись! – прерывает его горбун. – Кто-то спрашивал твое мнение?

– Иисусе Христе, как Отто волнуется, – говорит Флора у дверей.

– Люди, – кричит Отто у киоска, – была бы хоть щепотка разума в ваших затылках, вы бы не задали даже одного вопроса. Рабочий отдает свой голос рабочему, и точка. Кто защитит ваши интересы, если не рабочий, обладающий душой рабочего? А? Или ничего не понимаете? Я ли не знаю клубок червей, шевелящийся в ваших затылках? Несомненно, есть среди вас такие, которые считают, что старый генерал владеет знаниями и опытом и понимает рабочего, как я и вы? Ха-а! – Отто прерывает свою речь и окидывает хмурым взглядом толпу слушателей.

– Ага! – поясняет Флора у дверей своего трактира. – Генеральша тоже там.

Кличку «генеральша» однажды дали Эльзе. Сидела она среди женщин на скамье, говорила о том, что ее Пауле исчез вместе с Шенке и стал настоящим генералом, командующим войском. Дикая хохот потряс скамью. Генерал! Смотрите, каких высот достигла эта лгунья! Рассмешила нас эта, раскидывающая ноги перед любым кобелем! А пьяница Шенке, значит, – заместитель генерала, и хриплым своим голо-

сом помогает Пауле командовать войском. Скамья раскачивалась от смеха. Только госпожа Шенке стояла вдали, уставившись сердитым взглядом в Эльзу. С этого дня смертельная ненависть вспыхнула между этими двумя женщинами.

– Генеральша, – с презрением смотрит Флора на Отто.

– Вы что, не слышали, дурачье, как этот старый хрыч, генерал, владелец свиных стад в восточной Пруссии, бесстыдно похваляется тем, что в жизни ничего не читал, кроме книг про войну и мобилизацию? Дело его связано с жизнью? Дело его связано с убийством! И на него вы возлагаете ваши надежды?

– Как здорово говорит Отто, – шепчет косоглазый точильщику.

– Отто прав! Прав во всем!

У киоска усиливается гам. Лица людей становятся все более хмурыми и злыми. В трактире у окна троица допила свои первые стаканы пива.

– Теперь, – провозглашает горбун, – душа просит чего-то крепкого. Принеси-ка нам, Бруно.

Горбун одет как человек состоятельный, даже брюшко появилось у него, как у буржуя. Взгляд Ганса Папира уперся в цветастый галстук горбуна. Долговязый Эгон подремывает над стаканом. Ночью таскал пакеты на вокзале, и усталость его одолела. Ганс взирает на крышу и что-то бормочет про себя. В трактире тишина, из крана капает вода, кошка тоже погружена в дрему.

– Люди! Люди! – доносится голос Отто словно издалека. – Вы, конечно, раззявите рты, слушая перлы, изрекаемые Гитлером? Насытите каждое утро ваши пустые брюха извержениями этого «святого» рта? Я вас отлично знаю! Всему можно поверить, что говорят о вас! Всему! – окидывает Отто хмурым взглядом толпу.

– Слушай, – приближает горбун голову к Гансу Папиру, – дело есть вечером, для тебя. Понимаешь, в одном зале будут речи, и, вероятнее всего, начнется скандал. Люди власти настроены... – горбун смотрит на мускулы Ганса.

– Скандал? По какому поводу? Почему?

– Не задавай много вопросов. Скандалы теперь случаются каждый день.

Лицо Ганса бледнеет:

– И полиция будет? – шепчет он.

– Вероятнее всего, будет. Эти же суют свой нос в любое дело.

– Если там будет полиция, меня там не будет, – решительно говорит Ганс Папир.

– Иисусе, – жалуется Флора у дверей, – сегодня Отто просто не закрывает рта.

– Все вы пустозвоны! – кричит Отто около киоска. – Ваши мозги искривлены и пусты, так, что их можно заполнить любым мусором. Кто здесь сказал, что евреи виноваты? Чепуха и суета сует! Разве не сказал уже Август Бебель, что антисемитизм это социализм дураков? Старик был прав. А

вы... Вера покинула ваши сердца, и это – все. Люди, поймите! Вера – главное в жизни. Пока человек верит, он остается человеком. Улетучивается вера, им овладевают страсти.

– Ты стал трусом, Ганс, – говорит горбун, – но это тебе не поможет. Сидящий перед тобой, – горбун стучит себя в грудь, – знает вредные твои страсти, так или иначе он извлечет тебя из подвала. Лучше тебе идти со мной...

– Заткнись! – вскакивает Ганс со своего стула, хватается горбуна за галстук и дергает к себе со стула. Внезапно глаза его расширяются. – Какого цвета твой галстук?

– Красного, – лепечет горбун, – главным образом, красного.

– Ложь! – кричит Ганс Папир. – Зеленого цвета, как флаги Отто! Ты лжешь! – и он сжимает горло горбуна галстуком. Рот Куно раскрывается. Над ним – угрожающее лицо Ганса.

Флора подбегает и тянет Ганса Папира за пальто:

– Не начинай тут скандалить, слышишь меня? Сейчас приведу двух «синих», – указывает она на двух полицейских, которые присоединились к толпе слушателей Отто.

Ганс Папир оставляет горбуна и выскакивает на улицу. Как безумный, бежит в свой подвал.

– Гансхен сделал нам пип! – скандирует ватага юных хулиганов.

Ганс врывается внутрь ватаги, хватается большими своими руками тех, кто постарше, и яростно раздает тумаки налево и направо. Глаза его стекленеют, как у пьяного, и пена пузы-

рится на губах. Дети визжат и убегают, прячутся во входах домов, в безопасных углах, и продолжают скандировать:

– Гансхен сделал нам пип! Гансхен сделал нам пип!

Эхо разносится по переулку, возвращается от стен домов, выводя Ганса из себя. Пустота возникает вокруг него. Около киоска люди поворачивают головы.

– Ганс Папир бесчинствует! – разносится шепотом по рядам в толпе у киоска. Пустота все более расширяется вокруг Отто. Все бегут, все рвутся через шоссе. Круг медленно замыкается вокруг бесчинствующего Ганса. Любопытные набегают со всех сторон, из всех дверей и ворот. Даже мясная лавка евреев открылась. Евреи стоят у входа в темных пальто, и госпожа Гольдшмит удерживает Саула, пытающегося вырваться из ее рук. Мелкие торговцы в синих фартуках сбегаются на шум.

– Что случилось в переулке?

Переулок полон боевыми криками. Ганс Папир лупит своего противника, и все вокруг ввязываются в драку.

– Бей, Ганс! Бей!

– Покажи им свою силу, Ганс!

– Пип-сын-силы!

Со всех сторон несется свист. Оскар вращает своей тростью над головами людей, широкополая шляпа Эльзы смялась, Флора закатывается смехом, пес Ганса Папира хрипло лает и скребется лапами в окно подвала, испуганные воробьи взлетают с телефонных проводов, госпожа Шенке убегает и

прячется среди газет Отто.

Горбун мечется, как голодный пес, между людьми, исчезает и возникает, а за ним весело тянется длинный хвост мальчишек.

– Ай да Ганс! Ай да Пип! Ах, какой веселый тип!

Переулочек ревет. Голосов не различить.

С грохотом опускаются жалюзи на окнах еврейской мясной лавки.

Безмолвна лишь афишная тумба со своими развевающими прокламациями и портретами кандидатов в президенты страны – Тельмана, Гинденбурга, Гитлера. Над беснующейся толпой из окна выглядывает лицо матери Хейни сына-Огня. Черные ленты обернулись вокруг флага, опавшего на древке.

Среди толпы орущих наблюдателей стоит граф Оттокар в обществе «цветущего» Густава. В углу рта Густав держит роскошную сигару, подарок Оттокара, и равнодушно наблюдает за беснующимся Гансом. В голове Оттокара сливаются, словно в странном танце, обрывки картин – посверкивающий монокль в глазу отца, усачи-охотники, крестьяне, жующие огромные куски свинины, Тельман, Гитлер, Гинденбург и море красных флагов.

– Иисусе, – раздается женский голос за его спиной, – сумасшествие в эти дни, как эпидемия чумы, – и голос этот слышится единственно нормальным среди всего рева и гама.

– Ты, Клотильда? – слышит граф голос стоящего рядом

Густава. – Я и не заметил, в каком приятном обществе мы здесь находимся.

– И ты здесь, Густав?

– Нет гулянки без Густава, – снимает Густав шляпу и поводит ею в сторону Ганса.

– Шутки в сторону, Густав, – голос у нее приятный, глубокий, – этот Ганс болен, душа у него больна опасной болезнью. Что скажешь, Густав?

– Клотильда, я всегда говорю то же, что говоришь ты.

Оттокар поворачивает голову в сторону низкого голоса. Рядом стоит высокая крепкая телом женщина с длинными, цвета соломы, волосами. Глаза светлые, голубые и большой широкий рот.

– Клотильда Буш, – представляет ее Густав. – Граф, стоило вам прийти сюда лишь для того, чтобы познакомиться с Клотильдой Буш, даже если вы не найдете здесь место для вашего старика Гете.

Светлые глаза глядят на него скучающим взглядом.

– Ганс Папир, полицейские! Полицейские нагрянули!

Группа полицейских врывается в толпу. Долговязый Эгон увидел их первым, бежит к другу и хватает его за руку.

– Ганс, полиция!

В тот же миг замирает Ганс по стойке смирно. Смущенный и испуганный, смотрит он на окружившую его и тоже замершую толпу. Опускает голову, словно собирается разрыдаться.

– Это снова на меня напало, Эгон, – говорит он другу плачущим голосом.

– Пошли домой, Ганс, – говорит Эгон печальным голосом. – Теперь ты должен отдохнуть.

– Не говорил ли я тебе в трактире, что это у тебя здесь, – стучит себя в грудь горбун, – стоит все же тебе прийти вечером в аудиторию, Ганс. Надо ведь немного развлечься.

– Разойтись! Разойтись! – кричат полицейские, и резиновые нагайки посвистывают в воздухе.

На тротуаре остаются лишь граф-скульптор, «цветущий» Густав и Клотильда Буш. Снова поднимаются жалюзи на витрине еврейской мясной лавки.

Одиноким остался Отто около своего киоска. Руки его скрещены на животе. Смотрит в расцвеченный флагами переулок, опять останавливает взгляд на черных лентах, развивающихся на ветру. Переулок безмолвен.

– Пойдем к Отто поговорить по душам, – предлагает Густав.

– Ни в коем случае, – говорит Клотильда Буш, – первым делом надо выпить.

Они пересекают улицу по пути к жилищу Клотильды Буш – обширному подвалу с множеством комнат. Клотильда не знает, кто дал ей это длинное красивое имя. Однажды найден был на пороге городского сиротского дома ребенок, родившийся месяц назад, закутанный в чистое одеяло, и на клочке бумаги, привязанном к маленькой ручке, написано

было черными чернилами имя «Клотильда». Фамилию Буш прибавили ей в сиротском доме. В возрасте четырнадцати лет она сбежала из жестокого сиротского дома, не взяв с собой ничего, кроме гибкого сильного длинного тела и красивого лица. Этим она нашла заработок в избытке в большом городе, почти сразу же став «королевой переулков». И, казалось, она достигнет невероятных высот, если бы не ее горячее и чувствительное сердце, которое исходило жалостью к каждому бездомному бродяге. Найдя такого, она тут же тащила его в свой подвал, кормила, согревала своим красивым телом. Как только приходил тот в себя и обретал облик человека, она сразу же меняла его на другого бродягу. Только к таким существам было расположено ее сердце. Деньги, которые всегда были у нее в избытке, она тратила на этих отверженных жизнью, и никогда не тянулась душой за красивыми преуспевающими мужчинами, которые не стояли за ценой, покупая ее любовь, и не один предлагал ей быть его наложницей. Неизвестно, каким образом, но в дни войны эта «девица переулков» из подвала попала на фронт, и перед ней открылись ворота госпиталей, ведь была она почти неграмотной. Так или иначе, Клотильда Буш стала сестрой милосердия, и всю душу свою отдавала самым несчастным – безруким и безногим, потерявшим лицо. Она была любима солдатами, врачами и сестрами. Дни на фронте были самыми счастливыми в ее жизни, и с окончанием войны волосы ее стали желтее, глаза более блестящими, а большое тело еще

более прямым и красивым. Но когда она вернулась в свой подвал и необходимость в ней отпала, исчез из ее глаз блеск, и она стала как-то странно двигаться, левое плечо искривилось, и левая ладонь вытянулась, как будто просила милостыню. На долгое время она закрылась в подвале, не откликаясь на многих, рвущихся к ней. Сразу же распространился слух, что Клотильда вернулась, и все обитатели переулков пришли поприветствовать ее и вернуть ей корону. И все же в один прекрасный день она открыла им двери, и с тех пор вернулись к ней прежняя стать и блеск в глазах. Но решительным образом она сообщила, что отныне она отрекается от статуса «королевы переулков» и открывает в своем подвале гостиницу, которая была открыта всем униженным, преследуемым и бездомным. Никого из них никогда не спрашивала, откуда он явился и куда собирается направиться. Полиция не осмеливалась ее тронуть и вообще входить в подвал. Все жители переулков защищали Клотильду. Все представители преступного мира готовы были душу за нее отдать. Они были записаны полицией как члены «Объединений по вольной борьбе» и называли друг друга «братьями». Полиция не трогала эти «объединения». По необходимости Клотильда прятала у себя в «гостинице» этих «братьев». Они это хорошо помнили, и с их щедрой помощью она могла содержать у себя бродяг, которых собирала по переулкам. В эти предвыборные дни Оскар и Отто приводили сюда «политических», на которых полиция положила глаз.

– Ганс Папир, – говорит Клотильда Оттокару и Густаву, идя с ними рядом, – я его ненавижу. Вы не знаете, что творит этот угорь. Мне рассказывала госпожа Шенке. Два раза он вытаскивал слабую птичку из клетки и давал на растерзание котам. И становился тогда веселым, и скакал от радости при виде поедаемой жертвы. Ты ведь не знаешь, Густав, за что он сидел в остроге много лет?

– Нет, – говорит Густав, – не знаю.

– Из-за какой-то женщины, – рассказывает Клотильда, – в гневе распорол ей живот. Несчастливая попала в больницу, а его уперли за решетку. Ему там следовало быть до конца своих дней. Когда он вышел из тюрьмы, тут же явился ко мне. Я на порог его не пустила.

– А вы, – обращается Клотильда к графу. – Вы тоже нездоровы. Болезнь гнездится в вас... Как это вас кличет Густав?

– Граф, мадам. Так он меня кличет.

– Если так, граф, вы нездоровы.

– Так, мадам, – соглашается Оттокар. – У вас действительно пронизательный взгляд. Весной нападает на меня аллергия. Болезнь весьма неприятная.

– Аллергия! – испуганно повторяет Клотильда. – Как же я это раньше не узнала!

Клотильда не знает, что это такое – аллергия. Но звучание этого слова пробуждает в ней большой интерес.

– Вы счастливчик, граф, – говорит Густав и подкидывает шляпу, – она вами заинтересовалась. Я не так счастлив, как

вы. Я здоров и красив, а она таких не привечает.

– Иисусе, вы слышали, он красив! Красив! – Клотильда смеется от всей души. Она шагает между двух мужчин, гибкая и красивая.

На улицах масса народа. Влево и вправо разбегаются переулки, как темные щупальца огромного тела. Люди, выходящие оттуда, выглядят как посланцы тьмы, несущие с собой какую-то тайну и стремящиеся быстро раствориться в людском потоке, несущемся по главной улице. Предвыборная война во много раз усиливает эту суматоху. Все трактиры походят на крепости. Здесь – свастика, там – серп и молот, а в трех шагах – три стрелы на красном флаге, символ народного фронта социал-демократической партии. И даже Хугенберг поставил здесь свою палатку. Перед небольшим кабаком скромно стоят несколько парней, на рубашках которых нарисована стальная каска сталеваров. Целая армия партийных рыцарей собралась здесь, у трактиров и забегаловок, чтобы охранять ораторов и ящики, откуда извлекают все, что развешивается и расклеивается вдоль улиц. И смешивается эта армия с розничными торговцами по сторонам тротуара. И посреди всей этой многоголосой суматохи шагают полицейские, прогуливаются проститутки, бегут люди по своим делам, фланируют безработные в собственное удовольствие.

– Сворачиваем в переулок, – говорит Клотильда.

Густав указывает на витрину. Среди кремов, помады и

прочей парфюмерии – две восковые головы – женщины и мужчины. Ее голова украшена рыжим кудрявым париком, его голова – черной шевелюрой.

– Граф, не забывайте из-за Клотильды, с какой целью мы пришли сюда, – указывает Густав на восковые манекены, – ведь и вы хотите поставить здесь некое подобие такой куклы, не так ли, граф?

Недовольная гримаса искривляет лицо графа.

– Не сердитесь на Густава, граф. Ваш Гете не перевернется в гробу, услышав шутку из уст жителя Берлина, пытающегося самого себя развеселить.

– Пришли, – шепчет Клотильда.

В подвале тишина. Временные жильцы ушли по своим делам, оставив после себя запах табака и давно невымытых тел.

– Вилли! – зовет Клотильда. – Где ты, Вилли?

Вилли выходит из кухни. Граф застывает на миг. Странно выглядит этот человек. Маленький нос прячется между широких скул. Верхняя губа рассечена, и постоянная улыбка приоткрытого рта как бы просит прощения за уродство.

Вилли – бродяга, которого содержит сейчас Клотильда. Голова скошена, лоб словно прячется под кривой и лысый череп.

– Густав пришел! – радостно провозглашает Вилли и протягивает руку графу.

– В мою комнату, – говорит Клотильда, – прямо в мою комнату.

– Я там посадил Манфреда, – говорит Вилли, – пусть проветрится.

В подвале много комнат. Комната Клотильды – в конце коридора. В ней масса цветов и растений. Пес разлегся на диване, и множество кошек – на стульях, на столе и кровати Клотильды. Оттокар берет в руки анемоны, которые распустились в полную силу перед увяданием.

– Я люблю мягкий росток и распустившийся цветок, – говорит Оттокар, глядя на Клотильду, стоящую рядом. Она краснеет и опускает голову.

Около окна стоит мужчина, тело которого наполовину парализовано и один глаз, большой и голубой, смотрит на Клотильду и Оттокара, не сводящего с нее глаз. Это Манфред.

– Сойди со стола, – обращается смущенная Клотильда к кошке, разлегшейся в тени хрустальной вазы. – Все еще не знает, как вести себя в доме, – и она гладит кошку. – Подобрала ее на улице, и пса этого тоже. Я очень люблю животных. Они никогда не разочаровывают.

«Как такая женщина выросла в этих переулках?» – удивляется про себя Оттокар, и вслух говорит:

– Действительно удивляет, как у вас мирно уживаются собака и кошки.

– Вы не знаете как, граф? Вражда – это наследие человека. Человек – это самое злое животное. Я не права, Густав?

– Конечно же, Клотильда. Разве я не говорил тебе, что ты всегда права?

– Вы так добры к людям, госпожа Клотильда, – улыбается граф.

– Упаси Бог, – пытается хозяйка дома доказать обратное своим низким голосом, – просто есть такие, к которым душа моя весьма расположена. – Клотильда кокетливо смеется, словно шаловливый дух вселился в нее, и приказывает Вилли: – Принеси выпить.

Тяжелый вздох доносится с кресла-качалки около окна. Быстрым движением Клотильда поворачивает голову в сторону вздохнувшего Манфреда.

– Манфред, я ведь тебе уже сказала, что не надо себя мучить. Ты совершил это из-за большой любви. А за это прощают. Не так ли, Густав?

– Вы правы, Клотильда, – отвечает Оттокар, когда она приближает к нему свое большое лицо, он чувствует ее запах, и нервы его напрягаются при виде ее пунцовых губ.

– Вы даже не знаете, граф, что произошло с Манфредом, – шепчет она, – в момент любви он задушил в объятиях женщину. Тут же встал и сдался полиции. До сих пор не может объяснить, почему он это сделал. А я знаю, граф, он ее слишком любил. Приговорили его к пожизненному заключению за любовь, которая свела его с ума. И все же Господь сжалился над ним, граф: с ним, после двадцати лет тюрьмы, случился инсульт и парализовал половину его тела. Праведное дело совершил с ним Создатель. Из-за паралича был освобожден из тюрьмы, и вот, пришел ко мне. Бедный, несчастный мой.

Странно, но горячие взволнованные слова этой женщины ворвались, как источник живой воды в сердце Оттокара. Годами он не знал женщины, годами так не возбуждала его женщина, как теперь, эта сильная, красивая, здоровая телом Клотильда Буш.

– Пейте, граф, – голос Клотильды слегка охрип. – Еще рюмку.

– Пейте, граф, пейте, – поддерживает ее Густав несколько насмешливым голосом.

Со стен смотрят на них картинки, вырезанные из газет. Звезды кино, театральные актеры, футболисты, и против них всех – боксер Шмелинг! Глаз Манфреда следит за ними, как и глаза Вилли, стоящего за спиной Клотильды. Кошки крутятся и скачут вокруг них. Пес дремлет. Густав наливает себе еще рюмку, и Клотильда смотрит в свою полную доверху рюмку, смущаясь под взглядом графа.

– Граф, – говорит Густав, глядя на графа, не скрывающего вожделения, – пришло время двигаться дальше. Кажется мне, что вы на время оставили в покое вашего Гете.

– Что ты сегодня все время посмеиваешься над этим Гете? – выговаривает ему Клотильда. – Ты что, выпил уже до того, как пришел сюда?

– Ну, что ты, Клотильда, ни капли во рту не было, – Густав поднимается с места. – Что же касается Гете, Клотильда, тебе это объяснит граф, – и Густав подмигивает Оттокару.

– Мадам, – Оттокар встает, кладет свою ладонь в ее боль-

шую руку и чувствует, как электрический разряд проскакивает между ними, – мне очень приятно, мадам. До встречи, не так ли? Мы же еще увидимся?

– Увидимся, – смеясь, говорит Клотильда, – почему же не увидеться?

– Слушайте, – говорит Густав Оттокару уже на улице, – теперь мы идем к Отто.

– Кто это Отто?

– Придете и увидите.

Глядя на Оттокара, всунувшего руки в карманы пальто и негромко насвистывающего, Густав спрашивает:

– С чего бы такая радость?

– Потому что я здоров, Густав, абсолютно здоров.

– Прекрасно, – говорит Густав. – Отлично! – и подбрасывает шляпу.

У киоска стоит госпожа Шенке, сложив руки на своей пышной груди:

– ...И тогда я пошла к ней и сказала ей...

Голова Отто торчит в окошке.

– Да, Отто, сказала ей, ты, несчастное существо, если он генерал, иди в полицию, корова, и принеси алименты для своих детей. Пусть оплатит тебе из своего богатого кармана. И что, ты думаешь, отвечает мне эта несчастная?

– Что? – напрягается Отто.

– Святая Мария, Отто, ну, что она могла ответить? Слушай, сказала она, Пауле пошел воевать за лучшую жизнь для

моих детей... Иисус, кричу я ей, тупая корова, чем поможет твоим детям лучшая жизнь, если они будут ходить на кривых ножках? Разрыдалась она и добавила: Пауле вернется и переломает все мои кости, если я донесу на него в полицию. Так она сказала, эта корова.

– Пошел воевать за лучший мир, так она сказала? – с горечью смеется Отто.

– Именно так.

– О ком речь, можно узнать? – вмешивается Густав.

– Густав! – радостно восклицает Отто. – Это ты или твоя тень?

– Я и моя тень – едины, – отвечает Густав и с удовольствием прислоняется спиной к портрету Тельмана на стенке киоска.

– О ком речь? – кричит госпожа Шенке. – Что за вопрос о ком речь. О Пауле и моем муже Шенке.

– И что случилось с Пауле? – удивляется Густав. – Где он?

– Я могу тебе ответить, Густав, – говорит Отто. – Он и Шенке и еще многие, как они, проходят военную подготовку в лесах Пруссии. Армия Гитлера. Пауле там генерал. Республика разрешает им создавать свое войско. Соображаешь?

Густав пожимает плечами и подкидывает шляпу.

– И Пауле ведет армию Гитлера в лучший мир, – кричит госпожа Шенке, – и мой Шенке втянут в это дерьмо. В любое дерьмо он втягивается. За водкой, за Эльзой, за Гитлером, святая Мария...

– Что ты визжишь здесь? – сердится Отто. – Иди своей дорогой. Ну, а ты, Густав, что скажешь?

– Что скажу и о чем поговорю? – с явным удовольствием спрашивает Густав.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.